Александр Кушнер

Ночная музыка

Александр Кушнер

Ночная музыка

КНИГА СТИХОВ

Лениздат · 1991

84(2)7
К96

Кушнер А. С.
К96 Ночная музыка: Книга стихов.— Л.: Лениздат, 1991.— 112 с.
ISBN 5-289-01086-6

В новую книгу известного читателям ленинградского поэта вошли стихи, написанные в последние два-три года и связанные с осмыслением происходящих в стране перемен. Многие стихи посвящены родному городу поэта, природе, любви.

К $\frac{4702010202-023}{М171(03)-91}$ 163—91 84(2)7

Редактор Л. Л. Решетникова

Александр Семенович Кушнер
НОЧНАЯ МУЗЫКА. Книга стихов

Заведующий редакцией А. И. Белинский. Художник Б. Н. Осенчаков. Художественный редактор И. В. Зарубина. Технический редактор Л. П. Никитина. Корректор Н. Р. Качалова

ИБ № 5556

Сдано в набор 11.10.90. Подписано к печати 17.12.90. Формат 70×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,90. Усл. кр.-отт. 5,17. Уч.-изд. л. 4,75. Тираж 10 000 экз. Заказ № 498. Цена 1 руб.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

К $\frac{4702010202-023}{М171(03)-91}$ 163—91
ISBN 5-289-01086-6

© А. С. Кушнер, 1991
© Б. Н. Осенчаков, оформление, 1991

Лети, Душа !

* * *

Я, как помытчик при тишайшем
Царе, курить не буду, пить,
А буду сокола все дальше,
Все выше в небо заводить:
О, как он бел и как он страшен!
Привязан, скажешь? Где же нить?

Смотри, смотри, мой царь, мой кроткий,
Да не заметят гнев и страсть,
Как сокол, крик издав короткий,
На цаплю в небе рад упасть.
Пускай глядят, задрав бородки,
Дай насладиться боем всласть.

Ты видишь мысль мою в работе.
Она находит свой предмет,
Как сокол белый на охоте:
Он тоже ритмом разогрет.
Мой друг, на этой верхней ноте
Прощай! Кто скажет: счастья нет?

* * *

Это шведы, наверное, шведы, французы в двадцатом
Жили благоустроенном веке, чуть-чуть горьковатом,
Романтических роз аромат променяв на бензин,
На ученый доклад, на безумье абстрактных картин,

Ничего, ничего не имеющих общего с домом
Сумасшедшим, ни с деревом, к доктору в гости влекомым,
Это финны, наверное, финны, швейцарцы в таком
Жили веке домашнем, и кофе у них с молоком.

Это венгры, наверное, венгры, голландцы, датчане...
А у нас царь Иван, царь Борис в темноте за плечами,
Словно хищники, в мягких гуляют сапожках, не спят.
Завтра, тушинский вор, состоится воздушный парад!
Полетит громозвучное, многомоторное имя
Над трибуной с боярами, краешком глаза за ними
Он следит, как им нравится этот фигурный полет...
Я родился в шестнадцатом веке, и дрожь меня бьет.

* * *

Наши дела то прекрасны, то плохи,
Наши романсы нежны заунывные,
Только в России бывают эпохи
Реакционные и прогрессивные.

Будущий век. Представляю в нем школьников;
Детство, ты — рабство, обвитое датами:
Снова сличать их заставят, невольников,
Шестидесятые с восьмидесятыми.

Частная жизнь хорошо получается,
Если ее не преследует общая...
Дождик на даче идет, не кончается,
Мокнет тропинка и яблоня тощая.

Боже, глицинию дай мне, азалию,
Что-нибудь вроде Флоренции, Падуи...
Только в России так любят Италию,
Ищут глазами фонтаны и статуи,

В существованье ее не уверены.
Можно ли мыслить всю жизнь антитезами?
О, почему нам такие отмерены
Полосы, клинья такие нарезаны?

Может быть, если бы жили мы разумом
Больше, чем пылкими нашими чувствами
Пасмурнолицыми, сумрачноглазыми,—
Реже бы дело имели с искусствами,

Чаще — с политикой и экономикой?
Ах, и не в этом, наверное, дело...
Ну что с того, что ты с маленьким томиком
В кресле весь вечер, притихнув, сидела?

В чем же? В пространстве опять, в географии?
В климате? Дождь целый день так и льется.
В том, что дорожка нуждается в гравии,
Но, и раскиснув, его не дождется?

* * *

«Любите книгу — источник знаний».
Смиренный лозунг, висевший в школе.
Среди призывов других, воззваний
Он был всех мягче, скромнее, что ли.

Сейчас не помню, кто автор этих
Слов, пролетарский писатель в шляпе
Широкополой, как на портрете,
В дореволюционном тяжелом драпе?

Конечно, кто же еще? Крылатых
Фраз, как у фокусника в кармане
Птиц,— в его пьесах не счесть, докладах.
«Любите книгу — источник знаний».

На Капри, стоя у парапета,
В Москве ли сказано им такое?
Вот только странно любить за это,
А не за то и не за другое.

И даже может пропасть охота
Читать у школьника, пионера:
Так скучно что-то любить за что-то.
О, если б выяснить для примера,

Из всех ли авторов вить веревки
Дано, цитаточки в ближний ящик
Кладя? Да здравствует текст неловкий,
Для этих целей неподходящий,

Корявый, чудный, с тремя «который»
И заблудившимся оборотом
Деепричастным, с собачьей сворой,
И волчьим скоком, и конским потом!

* * *

«Угомонись. Кому сказали? Ну!
Кто так смеется много, будет плакать».
Ах, с детства смех вменяют нам в вину.
Жизнь — косточка, а мальчик думал: мякоть.

И девочка так думала, кружась
По комнате, как бабочка, покуда
На стол не налетела. Страх — и связь
Веселья с ним, злопамятным,— оттуда.

Показываешь метку на губе.
С тех пор всегда подмочено веселье...

Цветущий куст на вьющейся тропе —
И каменное, дикое ущелье!

Не нравится мне этот опыт, весь
В шипах и ранах, господи, должна быть
Другая жизнь, припрячь и занавесь
Ее от нас, но радовать и капать,

Сиять и пахнуть этой повелел
И веселить наш дух не для того ли,
Чтоб иногда дерзали за предел
Земной оглядки вырваться и боли?

ПОСЕЩЕНИЕ

Там, где в детстве я жил,
Я опять побывал.
Я настиг, ощутил
Это время, в провал
Заглянул, не узнал,
Восхитился, застыл,
Этот мальчик был мал.
Из калитки вела
Золотая тропа
В рыжеватый лесок.
Там зеленая мгла,
И сосна, и песок,
Там топталась судьба
И дышала в висок,
Непостижна, груба.
Там двойная игла
То свисала со лба,
То сползала со щек.

Там, на круглом лугу,
Среди запаха смол

Перед детским в долгу
Взрослый был волейбол.
При подаче, как вол
Исподлобья, дугу
Описав, он вбивал
В землю резаный мяч,
О, как я ликовал:
Этих взрослых подач
Был прекрасен обвал.

Луга нет и столбов
Не найти. Игроки
В немощных стариков
Превратились. Руки
Не поднять. Может быть,
Кто-то в царстве теней
Сетку смог раздобыть,
Мяч заняв у детей.

Если даже цветок
Понимает язык
Музыкальный и в шок
Его окрик и рык
Повергают, то вот
Эта старая ель
Помнит, может быть, тот
Детский взгляд и черед
Летних дней и недель.

Ах, я детства боюсь,—
Золотая тщета!
Нас смутили б, клянусь,
Впечатлительность та,
Одиночество,— мнусь,
Не шагнул бы туда.

Что за год это был?
Он делил пополам
Век двадцатый, любил
«Князя Игоря», срам
Обещавшего свой
Искупить и позор,
Чуть не до хрипоты,
В каждом доме — степной
Половецкий шатер...
«Кавалера звезды»
Он любил «золотой»,

«Далеко от Москвы»
Он читал в поездах,
Но июльской листвы
Ликованье в садах
Волновало сильней —
И суждений гостей
Не запомнил, увы,
На террасе, впотьмах.
«Попрощайся скорей
И ложись...» В двух шагах
За стеной разговор
Продолжался, но слов
Не расслышать... Кустов
На подушке узор.

Ну, доволен ли ты
Жизнью взрослой своей?
Не хотел бы другой?
Как немеют кусты
И дрожат под рукой!
Сколько мыслей, людей,
Быстротечной воды
Утекло, новостей...
Я отвечу, постой!

Я ее предвкушал
Не добрей, не полней,
Среди тех одеял
Дачных, зыбких теней,
Но и в судорогах зла,
И в объятьях любви
Что она превзошла
Ожиданья мои,
Не скажу,— словно мне
Был заранее дан
В детском том полусне
Общий смысл ее, план.

Пусть вину от обид
Отличить не спеша,
Сердце детское спит,
Ум неразвит и слаб,
Но тоскует душа:
Не понять норовит,—
Примириться хотя б
С этой жизнью, томит
Ее — хохот и храп.

Стук мяча, голоса
На площадке, сосед,
Шаркавший полчаса
В коридоре,— ей лет
Столько... ночью игла
Колет хвойная нас...
Столько, сколько жила
На земле она раз.

Изумленье, испуг,
Хвойный дождик в леске.
Словно вызвали вдруг
Ученицу к доске,

Хмурят строгую бровь,
Предлагают мелок —
И, отличница, вновь
Отвечает урок.

* * *

Ну кто еще так груб, как музыка дурная,
Подл и навязчив, как она?
Еще бы, вся страна, такое напевая,
Унижена, оскорблена.

Слух, бедный слух с душой всех крепче связан, острый,
Он мучает и жжет ее, продолговат.
Чудовищны наросты
Тех сладких песен в нас, их пошлый тон и лад.

Великий музыкант то в кепочке, то в шляпе,
Как загнанный, ходил с опаской меж людей.
Как выжил, вынес он ту музыку, не запил
На фоне тех статей?

И вспомню поезда, где надобно терпенье,
Чтоб радио снести.
Как страстно любит зло заливистое пенье,
Особенно в садах, особенно в пути!

Как нравится ему за рюмкою коньячной
Поглядывать на тех, кто вместе с ним поет,
Боясь забыть слова... Мы помним ус табачный
И усмехающийся рот.

У нынешних, при всей их бедности и дури,
По крайней мере слов не слышно: съел их ритм,
А те все в фетре мне, все в драпе, все в велюре
Мерещатся: прочь, стул! И ящик перерыт.

Вот счастье: петь не то, что все поют... Всех песней
Хотели повязать, порукой круговой.
Жизнь, как после болезни,
Шатается, бубнит и дышит вразнобой.

* * *

Кобыла сивая с ее тяжелым бредом
Пасется в нашем языке.
Происхождения ее секрет неведом.
Пришла понурая, стоит невдалеке.

Она бы Гоголю понравилась такая:
Упрямство жуткое и дикое вранье,
Копытом здравый смысл лягая.
У Даля нет еще ни слова про нее.

И вспомню мальчика на пригородной даче,
Как он смеялся, сколько раз
Он повторял потом за нами, чуть не плача,
Ему казавшуюся лучшею из фраз.

Он вырос, помнит ли те удочки и блесны,
Как было весело, а в полдень — горячо?
Как с бредом он теперь справляется несносным,
Вокруг пасущимся, смеется ли еще?

* * *

Иван Александрович, что ж вы, куда вы, зачем?
Вы нравитесь нам, оставайтесь, еще ведь так рано...
Бояться не следует вас,— говорю это всем.
О, только б пехотного вам обыграть капитана!
Ах, я не читаю, а пью эту радость и ем.

Почтамтскую улицу мы не смогли уберечь —
И семьдесят лет по-другому ее называли.
Прости, друг Тряпичкин! И ты не сумеешь извлечь
Из этой истории что-нибудь, кроме печали.
Кому мне сказать, как родная питательна речь?

Письмо не дойдет, распечатано, словно в лото
Играешь: твой номер опущен в мешочек, как в воду.
Я здесь проходил под приземистой аркой раз сто.
У желтого цвета есть то преимущество, что
Он, кажется, солнцем облизан в любую погоду.

«Французский посланник, английский посланник и я...»
Теперь понимаю, как, в сущности, это невинно.
И если б уехал, то взял бы в чужие края
Не черной землицы: останься, сырая моя,
В траншее,— а фразочки этого сукина сына.

Ах, Марья Антоновна (стул придвигая чуть-чуть),
Зачем же вы свой отодвинули стул? (Придвигая
стул.) Как бы платочком желал обнимать вашу грудь
И шейку (целует в плечо ее).— Наглость какая! —
О, мять эту глину, лепить эту радость и гнуть.

Месить, перемалывать, кровью своей разбавлять.
Ты, речь разговорная, слаще всего, развесная,
Как сахар, в какой бакалее насыпят опять
Нам этой муки прилипающей, с верхом, до края?
Прочел, перемазался... милая пыль, благодать!

Боишься? И я отвечаю, подумав: Боюсь.
Мне страшно заглядывать в завтрашний день — и не надо.
Зато я полсцены могу вам прочесть наизусть —
И в ней вся надежда, защита моя и отрада.
И пушкинский помнишь короткий эпиграф: «О Русь!»?

ПОД ДОЖДЕМ

Я ли не знаю, как дождь заунывен
В городе этом, угрюм, монотонен?
Старый трехсложник уныл и наивен,
Полузабыт, но вполне узаконен.
Шарф на мне плотен и плащ прорезинен.

Зонт из чехольчика выну, раскрою
С треском, нажав незаметную кнопку.
Вечером ранним, осенней порою...
Вынесем это рыданье за скобку.
Тополь мне нравится с мокрой корою.

Друг мой! Признаться ли? Есть в этой влаге,
В сумраке, холоде — нам развлеченье,
Требующее любви и отваги,
А не нытья — безоглядное пенье.
Как я люблю тебя, город во мраке!

Беды любить его нас научили,
Да «мирискусники» нам завещали
Эти брандмауэры и шпили,
Мокрый канат на дощатом причале,
Бурые краски и темные были.

Мрачный он, жуткий, прекрасный, огромный,
Музы поют в нем слышнее, чем птицы,
Еду ли ночью по улице темной,
Жизнь свою вспомню — и сердце смутится,
Словно читаю роман многотомный.

Да, виноват, виноват и отвечу,
Только и делаю, что отвечаю.
Кто посылает нам жаркую встречу,
К столику нас пригибает и к чаю?
Кроме любви, защититься мне нечем.

Синие тучи, лиловые тучи,
Самая темная смотрит, как кляча
Загнанная... Все равно не наскучит
Город, и жить в нем — большая удача,
Фарою высвеченная колючей.

Знал бы поэт разночинный, как будет
Старый напев нам казаться уютен
После всего, что стрясется... К простуде
Он, в крайнем случае, темен и смутен.
В тине ступени, и сходни в мазуте.

Но не к бомбежке в ночи, не к аресту,
Не к проработкам в разгневанном зале,
Даже не к скорбному, в спешке, отъезду
Всею семьей — в закордонные дали.
Сумрачный, он всего-навсего — к месту.

К месту всего лишь, а к смерти едва ли.

* * *

Антона Павловича — вот кого представить
В двадцатом, гибельном, хотел бы я году.
Уйти с Деникиным, махнуть рукой нельзя ведь.
Но и под красными ему невмоготу
Быть: жаль расстрелянных, и дела не поправить,
И надрываются, ревут гудки в порту.

Нет, он уехал бы; нет, он остался б, точно,
С охранной грамотой на белостенный дом
И сад ступенчатый; нет, он бы еженощно
Железных ждал гостей; нет, он бы над письмом
Сидел к товарищам из ВЧК; нет, срочно
Его б спровадили в Европу за теплом

И укреплением здоровья... Что, тоскливо?
Вот кто бы нобелевский был лауреат!
А «Жизнь Арсеньева» ждала бы терпеливо
Других каких-нибудь отличий и наград.
В окно б медонская сквозь сон тянулась слива,
И было б Чехову едва за шестьдесят.

Что ж, начинающих от нас бы посылали
К нему писателей учиться мастерству?
Я рифму страшную не назову в запале.
Зазвали б Чехова в советскую Москву?
Он вместе б с Пешковым на Беломорканале
В алмазах небо вдруг увидел наяву?

Нет, не увидел бы! Не соблазнился б, что ты...
Не обманули бы его, не провели,—
Прости, врываются в стихи такие ноты...
За сценой рубят сад, играют марш вдали.
В шестидесятые, подтаявшие годы
Впервые Чехова прочесть бы мы смогли.

* * *

Мне и Римской империи жаль.
Понимаю — сама виновата:
Желтый мрамор, сарматская сталь,
Сбои в ржавых узлах аппарата.

Почему, чтобы к новым прийти
Формам жизни, быть должен разрушен
Тот язык, что гремел посреди
Циклопических бань и конюшен?

В переводе Катулла читать
В чуть прихрамывающем размере...
Неужели такие ж опять
Холода предстоят и потери?

Нет,— душа переходит на крик,—
Пушкин с нами, и рок нас не выдаст,
И таинствен родимый язык,
И все кажется, дан нам на вырост!

Здравствуй, здравствуй, сырой говорок,
Пробегай по поверхности дивной
Языка,— вот он, лучший намек
На бессмертье, залог коллективный.

* * *

— Все империи разваливаются, друг мой,—
Говорил я у римских развалин в стране чужой,
Бывшей римской окраине, эти водопроводы
И мосты подновившей в Габсбургов век. Постой,
Покроши в руке этот камень, как часть природы.
Нет и Австро-Венгерской наследной досады той.

Если это закон, как его обойти? Вперед
Заглянув? Или дружба народов страну спасет?
Говорил мне якут, что Якутии слаще нету:
Как алмазных ее, золотых не щадить пород?
— Ладно, ладно,— якутскому я отвечал поэту,—
Нет зубов золотых у меня, загляни мне в рот.

Мы последняя в мире такая страна. Стихи
Так не любят нигде, как у нас. За отцов грехи,
Как известно, расплачиваются стократно внуки.
В рифму просится все, даже пасмурный лист ольхи.
Я хотел бы громаду пеструю на поруки
Взять, да мне не простят товарищи чепухи.

Я надеюсь не знаю на что, на грядущий век.
Все мы видели: кровь, и смерть, и железный снег,

Мы не видели только поблажки судьбы и ласки
Мимолетной, дрожанья губ, трепетанья век.
Обойдется, Петроний. Не предрекай развязки
Мрачной, ты ведь не половец, я же не печенег.

* * *

Молчи. Пусть сволочь густопсовая
Развылась, помни: этот вой —
Не речь. Беда многоголовая
Глядит в глаза из тьмы ночной,
Она склубилась туча тучею,
Она страшна, но ложь — страшней.
С ним, с ним, молчать умевшим Тютчевым,
Ты в этом мраке, а не с ней.

Как выговориться хочется,
Все объяснить, смягчить сердца!
Но знает мудрость-полуночница,
Что не построено дворца
Для разума, что тьма стозевная
Не ищет правды и добра —
Как магма зыблется подземная,
Не ты певец ее нутра.

* * *

Мы жили в решающий год, завершающий год,
Какой-то еще, тоже ающий, тающий, прущий,
Всех опережающий, нас выводящий вперед
И к нам приближающий пышные райские кущи.

Как из парикмахерской, социализм развитой
К нам вышел однажды, да так, что его не узнали.
Потом мы привыкли, как водится, к формуле той,
Потом отменили ее или так, замотали.

Ведь есть же другие, французские, что ли, края,
Где битвы за качество нет и геройских надоев...
Интенсификация, о, дорогая моя,
Тебя с эффективностью путаю, смысл не усвоив.

То некомпетентность на всю обругают страну,
То приспособленчество, то, например, пустозвонство,
То очковтирательство... что еще ставят в вину?
Я помню и хуже: вредительство, низкопоклонство...

А тут еще гласность... Ну, гласность, понятно, нужна.
И правда... выкладывай всю ее, правду, и совесть.
Совсем не останется слов у нас скоро... Со сна
Ищу — не найду... только «может быть», «значит» и «то есть».

* * *

Мне скучен был бы в эти дни и Лондон, и Париж.
Ах, друг мой, занято у всех, кому ни позвонишь.
Кто эти годы пережил, друг с другом говорят.
Дай бог им дел, дай бог им сил, и мне за пятьдесят.

Опять эпохою реформ Россия смущена,
И я клюю счастливый корм, и я прошу пшена
Из рук Истории, скупой на ласку и кивок.
«Не торопись так, бог с тобой!» — а голос хмур и строг.

Не голубь я, не воробей, но не забудь и ты,
Каких я был участник дней, свидетель темноты,
Твой век не мерен, твой закон рассчитан на века,
Не совпадает с жизнью он — напрасно ты строга!

Вот что я понял, что постиг, что мог бы у доски,
Не самый лучший ученик, я доказать с тоски,
Ты сыплешь просо, коноплю, в горсти их теребя,
Но жизнь я все-таки люблю и не люблю тебя.

Так поправляется больной и смотрит за окно,
Где тополь с грубою листвой, как темное пятно,
Стоит — собранье жестких жил и стариковских вен.
А жаль мне тех, кто не дожил до этих перемен.

* * *

Я думал вот о чем, я думал, что везенье
В том заключается мое, что в Ленинграде
Я жил вне зоркого к себе расположенья
Досужей публики, что спереди, что сзади
Широкой, нет, серьезно, вне ее вниманья
И поощренья — много лет — и ты, столица,
Не требовала ты, Москва, завоеванья,—
Зачем? Не занималась мной и заграница.

Я думал вот о чем, я думал, что московский
Литературный быт мне был бы не по силам.
Еще везенье в том, что век нам выпал жесткий,
Но с поостуженным и пообмякшим пылом,
И выяснилось, что литературных премий
Желать нелепо: Зощенко лауреатом
Ведь не был; лучше быть ни с этими, ни с теми,
Идти, задумавшись, курчавым Летним садом.

И думал я еще о том, что в шестистопном
Ямбе неплохо иногда сдвигать цезуру
И перестраивать его волноподобным
Движеньем,— так рукой взбивают шевелюру
Или, что ближе к ощущенью: так земная
Поверхность где-нибудь в Сорренто шевелится,
Когда Везувий, содрогаясь и стеная,
Вдруг заворочается в логове, как львица.

Еще я вот о чем подумал, что везенье
В том состоит, что посылать стихов не надо
Кому-то, кто о них судил бы в отдаленье,

В той же Италии, у синих волн,— чревата
Опека горькою зависимостью, лучше
Нам не притягивать из-за смолистой рощи
Пиний и лавров — взгляда добрых глаз колючих,
Совета в дружеском письме — писать попроще.

И окающий говорок и тюбетейку
На сером ежике волос легко представить.
Искал бы выход я, как узкую лазейку
В ограде каменной, чтоб старика избавить
От огорчения при виде тех процессов,
Что развиваются в поэзии, почтенья
К непрочной старости не знающей, навесов
Над ней не строящей и рядом — огражденья.

И думал вот о чем, я думал, что свобода
Располагается неравномерно в жизни,
Что больше, может быть, ее в стихах, что мода
Растет на рифмы при ее дороговизне,
Так пусть же падает спрос на стихи,— прекрасно!
Тем более что жить им предстоит отдельно
От нас, а будущее нестерпимо ясно,
Не утешай меня: обида не смертельна.

* * *

«Слава — это солнце мертвых».
Пыль на стоптанных ботфортах,
Смерти грубая печать.
Сыну почв сухих и твердых,
Корсиканцу лучше знать.

Смуглый, он-то в этом зное
Разбирался, как никто.
Припечет нас золотое
Лет примерно через сто.

Фивы рядом с нами, Троя.
Не похож ты на героя:
Шапка, зимнее пальто.

Не тянись, себя не мучь.
Что ж, любил, любил я страстно
В нашей стуже из-за туч
Достававший нас нечасто
Изможденный, слабый луч.

Ненадежное мерцанье
Сквозь клубящийся туман —
Нам он был, как обещанье
Незакатных волн и стран.
Городские расстоянья,

Разбежавшиеся мысли...
А тому, кого при жизни
Он избаловал, тому
Будет холодно в отчизне
Той, как в зимний день в Крыму.

* * *

Лети, душа,
в пыли и прахе;
я с этажа
в ночной рубахе,
едва дыша,
тебе рукою
машу, держа
письмо — другою.

Конверт с клеймом
из Тмутаракани,
открытка в нем:

пять в Себастьяне
стрел; в остальном —
как на экране,
жизнь бьет ключом,
и горожане
на дальнем плане.

На обороте
читатель пишет
мне: «Как живете?
Поэту свыше
судьба дается,
как Себастьяну».
Мою берется
промыть он рану.

Так он уверен
в ней, друг далекий.
Стою, растерян,
смотрю на плечи,
на грудь, на щеки:
гордиться нечем!

Читатель дальний,
ты сам утыкан,
ты сам облизан
огнем, печальной
судьбой, пронизан
стрелою, пикой,
не замечая
их в бедном теле.
И только с края
не лавры — ели.

В России любят
судьбу поэта.

О, не уступят
волненье это
и грозный опыт.
Стихи ж — постольку,
поскольку губят
цари поэта.
Примеры копят
упорно, рьяно...
Все больше света.
Ночь втихомолку
пошла на убыль.
И пахнет странно
от века-волка
в овечьей шубе.

Да нет же, мне
притворяться стыдно.
В ночном окне
жестковатый, слитно
с туманом, тополь
темнеет смутный,
и спит Петрополь,
как сон безлюдный.

Печаль какая!
В дыму утрат,
полуживая,
забытый лад
припоминая,
мечты, мечты,
где ваша сладость?
Вернешь ли ты
свою крылатость?
Лети, душа,
за рифмой «радость»,
как шмель жужжа!

* * *

Б. Окуджаве

Счастливые стихи писали мы,
Когда все, все препятствовало нам.
И волновали нити бахромы,
И взгляд тянулся к вышитым цветам
На скатерти,— да здравствует пустяк,
Под подозреньем он у дураков!
Ты, солнца луч, ко мне на пальцы ляг,
Приди, прильни, скользнул — и был таков.

Пленяла жизнь, давленью вопреки.
Сейчас, когда все, все разрешено,
Еще посмотрим, что нам смельчаки
Преподнесут, какое нам кино
Подарят... Помню фильм «Жил певчий дрозд»,
Насквозь прошитый музыкой ночной,
Тбилисский дом, грузинский длинный тост,
Борьбу во сне уснувшего с луной.

Моя любовь, тебя я не отдам,
Вас, дни мои, в аду не прокляну...
Никто, никто читать по вечерам
Нам не мешал, я жизнь свою одну
Не поделю ни на две, ни на три.
Волшебный смысл то вспыхивал, то гас,
И сад не зря шумел, держу пари,
И с полуслова понимали нас!

* * *

Независимость — вот что с годами ценить
Приучаешься; лучший поэт
Все хотел из клубка эту вытянуть нить,

Вольный вытащить жребий, задет
И задерган, и если, в сравнении с ним,
Мы продвинулись к этой мечте,
То спасибо страданьям его дорогим
И топтанью на снежной черте.

Только не говори, что забыт, одинок,
Присмотрись, как тебе повезло:
Не вскипит среди дня телефонный звонок,
Минотавр не дохнёт тяжело,
Не потребует страха и дрожи в ответ.
Быть у власти в дежурной чести —
Это вновь диалог — подозрительный бред —
С ней о жизни и смерти вести.

Больше этих ошибок мы не повторим,
Вековая да здравствует тень!
Шелести, накрывай утешеньем густым
Золотую рабочую лень,
Ненароком к столу приводящую нас,
За которым и впрямь ощутим
Свое равенство с резчиком, тысячу раз
Правым, с грузчиком, дружащим с ним.

* * *

Музыковед Собакевич и пишущий прозу Ноздрев...
О, фантастический перечень божьих несметных даров,
Вложенных в неподходящие, чуждые дару тела!
Глупости солнце палящее, грубости вечная мгла.

Я не поверил бы этому, если бы не был знаком —
С кем? — да хотя бы с поэтами, нравами их, языком:
Видимо, Бог, свое царствие распространяя на нас,
Любит преграды, препятствия, мутную жизнь без прикрас.

Или проступит, проявится в сделанном ими изъян?
Кто так известен и славится, может быть, вводит в обман?
Есть же счастливые случаи, сходятся дар и душа
Нежно, друг друга не мучая, сходством своим дорожа!

* * *

О да, она могла б внушить Орфею
В тревоге не оглядываться... С ней,
Германию любившей и Вандею,
Не страшен был бы путь в стране теней.

Писавшая в Москву об этой силе
Своей и твердом шаге,— не лгала.
Как в юности стихи ее любили
Мы, как потом любовь изнемогла

Под тяжестью взросленья, пониманья,
Отталкиванья от таких страстей
Избыточных... Сильней очарованья
В поэзии нас ждали и нежней,

Таинственней и вкрадчивей... Мужчины
Извилистее в речи стиховой,
Морские им доступнее пучины,
Их слух тесней братается с листвой.

Душа, хотел сказать я и запнулся,
Их женственна, не ведая о том.
Поэтому Орфей и оглянулся,
При всем своем уме, забыв о нем

* * *

Когда бы Тютчев мог прочесть, что он
жил и работал в этом доме: сон,
подумал бы он, сон все это, снится!
Жил и работал... это комитет
цензурный, что ли, пристальный? Ну, нет!
«О, этот юг,— быть может,— эта Ницца»?

Назвать стихи работой? Что за бред!
Пылит снежок, и правый глаз слезится.

Каким, каким поэтом, выдаю-
щимся он назван? Что ж это, в строю
стоял и как бы все же выдавался?
Иль он прочел неверно? Формуляр
служебный лучше скроен, и футляр
из-под очков куда-то задевался.

И скрыть всю жизнь хотел он тайный дар.
И не работал он, а забывался!

* * *

«От жизни той, что бушевала здесь...»

Ф. Тютчев

От жизни той, ах, и от этой тоже,
На разные шумящей голоса,
Пугающей, смущающей, по коже
Царапающей, жалящей, то строже,
То мягче говорящей,— полоса
Стеснительная выдалась такая,
Надолго ли? — от гула, что страна,
Трудясь, производить принуждена,
Ворочаясь в снегах и утопая,—
Поэзия останется одна!

И скажем прямо, это ль не удача?
Всех пережить могло бы что-нибудь
И менее заветное... Но плача
И трепеща, на свой переинача
Звучащий лад всю эту тьму и жуть,
Всех, всех речей, всей прозы, всех романов
Прочней под небом этим ледяным,
Всех роковых соблазнов и обманов,
Она одна — подруга тех курганов,
Двух-трех дубов, в стихах воспетых им.

* * *

Не так ли мы стихов не чувствуем порой,
Как запаха цветов не чувствуем? Сознанье
Притуплено у нас полдневною жарой,
Заботами... Мы спим... В нас дремлет обонянье...
Мы бодрствуем... Увы, оно заслонено
То спешкой деловой, то новостью, то зреньем.
Нам прозу подавай: все просто в ней, умно,
Лишь скована душа каким-то сожаленьем.
Но вдруг... как будто в сад распахнуто окно,—
А это Бог вошел к нам со стихотвореньем!

Друг любимый, полуночный...

* * *

Я поверил бы вам, что во зле
Мир лежит, да мешает мне море,
Так припавшее к знойной земле,
Отражаясь в зеркальном стекле,
Что стоит под углом в коридоре,
И узоры на шелковой шторе,
И любимый роман на столе.

Я поверил бы вам, что лежит
Мир во зле, но мешает мне гравий
На дорожке и жесткий самшит,
Нет упрямей его и курчавей,
Посмотри, как он густ, глянцевит!
Я и сам не забуду обид,
Унижений земных и бесправий!
Я поверил бы вам, что лежит,

Что понур, что поник, что во зле.
Но стихи о бегущем проборе
Влево, дремлющих кленах во мгле...
Если б нас не держали то в горе,
То в бесчувственном прахе, в золе!
Но приветливость в любящем взоре,
Но улыбка в ночном разговоре,
Распускаясь, как роза в тепле...
И потом, что же Бог — только в споре
Аргумент, только довод в чехле?

* * *

«...Отвечая встречным взглядам
Непорочными лучами...»

Ф. Тютчев

Расходились поздней ночью,
В темноте толпились горы,
Туч на них висели клочья,
«Кончен пир, умолкли хоры...»
Под обрывом сохли сети.
Как при лунном мягком свете
Дышит ночь теплом и счастьем!
Как там строки на две трети
Загромождены причастьем!
«Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины...»
Сжала руку над запястьем:
Друг мой, я ведь не из глины!
Обходя во тьме заборы,
Вспомню римские руины...

Стилизация ли это
Иль античного поэта
Перевод неадекватный?
Дым мне мнится ароматный.
Как же, видел город вечный,
Небосвод над ним проточный,
Сумрак статуи увечной,
Мир почивший, невозвратный,
Но милей под пылью млечной
Мне любовный пыл порочный,
Безоглядный, скоротечный,
Среди тьмы бесчеловечной
Друг любимый, полуночный...

* * *

Как ночью берегом крутым
Ступая робко каменистым.
Шаг, еще шаг... За кем? За ним.
За спотыкающимся смыслом.
Густая ночь и лунный дым.
Как за слепым контрабандистом.

Стихи не пишутся — идут,
Раскинув руки, над обрывом,
И камешек то там, то тут
Несется с шорохом счастливым
Вниз: не пугайся! Темный труд
Оправдан будничным мотивом.

Я не отдам тебя, печаль,
Тебя, судьба, тебя, обида,
Я тоже вслушиваюсь в даль,
Товар — в узле, все шито-крыто.
Я тоже чернь, я тоже шваль,
Мне ночь — подмога и защита.

Не стал бы жить в чужой стране
Не потому, что жить в ней странно,
А потому, что снится мне
Сюжет из старого романа:
Прогулка в лодке при луне,
Улыбка, полная обмана.

Где жизнь? Прокралась, не догнать.
Забудет нас, расставшись с нами.
Не плачь, как мальчик. Ей под стать
Пространство с черными волнами.
С земли не станем поднимать
Монетку, помнишь, как в Тамани?

* * *

«Как будто я и впрямь жила уже когда-то,—
ты говоришь мне перед сном,—
Знакомят с кем-нибудь — довольно слова, взгляда,
Чтоб все, все знать о ней; о ней или о нем,
О вкусах, о страстях, пристрастиях, страстишках.
Я знаю даже, чем сейчас нас удивят:
Каким вранья излишком
Иль искренностью — сам рассказчик ей не рад.
Скачкову, например, с пронырливым умишком
Я знала тыщу лет назад.

Ну ладно, засыпай». И точно, засыпаю,
Но прежде чем уснуть, ночной травы слабей,
Подумать успеваю,
Что я-то, боже мой, не знаю так людей,
Как ты, что иногда мне кажутся загадкой,
То ангел в них мерещится, то бес,
Нет, я-то в первый раз живу. И этой гадкой
Скачковой никогда не видел: темный лес.
И знаю: ты не спишь, глядишь во тьму украдкой,
Как будто вспомнить к ним свой хочешь интерес.

* * *

Знаю, знаю тебя, изучил, в твоем сердце живу,
В твоих мыслях живу, как землистый ракитник во рву,
Почему ты не спишь, улыбаешься, знаю, во тьме.
Как застенная мышь, я в твоем затихаю уме.

В твоем сердце живу, знаю, знаю тебя, изучил
За семь лет — наяву, а во сне — облакам поручил,
Облакам, сквозняку, что врывается в форточку к нам,
Да тому ивняку, что растет по сырым берегам.

Знаю, знаю тебя, почему ты не спишь,— потому,
Что дневной свой барыш не успела доверить уму,
Дорогую поживу умом не успела обнять,
И теперь еще раз рассмотреть надо все, разгадать.

Надо, надо достать с полки томик стихов небольшой,
Не достать — пробежать не глазами его, а душой,
Прокрутить еще раз телефонный в уме разговор,
Знаю, знаю тебя, почему ты не спишь до сих пор.

Ты не спишь потому, что меж пальцев уходит вода:
Не успеть записать ни в дневник, ни в тетрадь — никуда,
Проливается, льется, любовью и звездным лучом
Так пронизана вся, что нельзя горевать ни о чем.

* * *

Пой, пой, но только тихо, тихо.
Чем тише музыка, тем безобманней.
Пусть сердца темная неразбериха
Перед дорогою смирится дальней.

Счастливый рок, печальная улыбка,
Беспечная гримаса.
Играй, рояль, а ты умолкни, скрипка,
Не раздирай мне сердца, кареглаза.

Простоволоса, в обморочной позе.
Чистосердечен и разумен,
Рояль подобен выверенной прозе.
И самый сильный стих чуть-чуть приструнен.

Я помню море в час разлуки:
Оно не плакало,— еще сильней сверкало!

Подруга-жизнь, займи мне камнем руки,
Мелком, улиткою, похожей на лекало.

Я и с задворками бывал учтив и дружен,
Да будет возраст нам не страшен.
Пусть он глядит на нас, обезоружен
Тем, что в глазах блеск тихий не погашен.

К нам не имеет отношенья
Неблагодарности унылый грех тяжелый.
Был дан прекрасный смысл нам в утешенье
В нарядах царских, а не голый.

* * *

Как хорошо жить,
Помнить, любить, спать,
Вкрадчивую нить
Дергать, во тьме ронять!

Как ты свежа, явь,
Как ты глубок, сон!
Шагом. Бегом. Вплавь.
Словно Тезей, Язон.

Комната. Потолок.
Влажный гранит скал.
Ты мне дала клубок
Или я сам взял?

Сквозь слепоту бед
И черноту гнезд
Льется в окно свет
Однопартийных звезд.

Сходит и наш век
С треском со всех сцен.
Ближе к нам скиф, грек,
Чем Ренуар, Гоген.

Словно в других мирах
Жили они. Нас
Делал людьми страх,
Нет, как овец, пас.

Нет, как траву, мял.
Нет, как тростник, гнул.
Радость — вина бокал,
Просто диван, стул.

Словно дельфин на пляж
Выброшен или кит,—
Мертв Минотавр наш
Или устал, спит?

Или, наоборот,
Всем существом своим
Он к хозрасчету льнет,
К ценам договорным?

Как ветерок в степи:
To be or not to be?
Ладно, ту би, ту би...
Милая, спи, спи.

НОЧНАЯ МУЗЫКА

Ночная музыка сама себе играет,
    Сама любуется собой.
Где чуткий слушатель? Он спит. Он засыпает.
Он ищет музыку руками, как слепой.

Ночная музыка резвится, как наяда
В ручье мерцающем, не видима никем.
    Ночная музыка, не надо!
Не долетай до нас, забудь о нас совсем.

Мы двери заперли и окна затворили.
Жить осмотрительно, без счастья и страстей —
О, чем не заповедь! Ты где, в автомобиле?
    На кухне у чужих людей?

Но те, кто слушает, скорей всего не слышат.
Я знаю, как это бывает: кофе пьют,
    Узор, что музыкою вышит,
Не отличим для них от нитей всех и пут.

    И только тот, кто ловит звуки
За десять стен от них и множество дверей,
Тот задыхается от счастья, полный муки:
Он диких в комнату впустил к себе зверей.

    Любовь на кресло
С размаха прыгает, и Радость — на кровать,
И Гнев — на тумбочку, все ожило, воскресло,
Очнулось, вспомнилось, прихлынуло опять.

* * *

Облаков на небе маленьких так много!
Мелких-мелких, в темном небе, в поздний час.
Из гостей мы. Что за странная тревога
На Суворовском охватывает нас?

Убыстряем шаг, зачем? Остановиться
Было б правильней, подумать, постоять...
Эта белая ночная вереница
Разве лучшим нашим мыслям не под стать?

Или трудно нам собрать свои волокна
И в рассеянье закончить легче день?
И собор покрашен в цвет какой-то блеклый,
И бесформенной толпой стоит сирень.

Как бы я себя ругал, как недоволен
Был бы я собой, когда б я шел один!
Ты спешишь — и я как будто приневолен.
Пусть плывут себе подобьем мелких льдин!

Так хорош он, этот мир, что не по силам
Нам... скорей, скорей домой, скорее лечь
Да, немыслящим; бездушным, да; бескрылым!
Счастье в том, что можно счастьем пренебречь.

* * *

Льется свет. Вода бредет во мраке.
И звезда с звездою говорит.
Как непрочны слов дневные браки!
Вот оно, рыданье аонид.

И душа с другим, ночным глаголом
В непроглядной тьме обручена,
Словно с богом, ласковым и голым,
Юным, захмелевшим от вина.

Ничего-то он не обещает,
И бессмертье дать не может ей.
Речь струится. Время? Время тает.
Дом глядит на нас из-за ветвей.

Странно жить, в виду имея темный
Край, конец, уступчатый обрыв.
Что ты хочешь там услышать: волны,
Жаркий шепот, вкрадчивый мотив?

Настежь смерть нестрашная открыта,
Смысл сидит у вечности в гостях,
Обсуждая с нею деловито
Все, что мы не поняли впотьмах.

* * *

Я за столом, под лампой, ты — на диване.
Как я люблю в стихах говорить с тобой!
Было об этом, скажи, хоть в одном романе?
Повод в стихах в самом деле хорош любой,
Жук, например, залетевший в окно, дремучий,
Страхом своим напугавший нас,— как он дик,
Груб и мохнат! Здравствуй, здравствуй, счастливый случай!
Выстрел в горах! Просто солнечный влажный блик...

Тысячу лет назад, когда я ребенком
Был, я дружил с таким золотым жуком,
Он в коробке у меня шевелился громком.
Это уже о тебе я вздыхал тайком,
Честное слово! Шуршанье его, топтанье...
«Пленницей» пятую книгу назвал не зря
Автор любимый. Вот именно, обладанье,
Жгучее, страстное, детское, втихаря.

Не подходи к нему, вылетит сам, я тоже
Умер бы, если б подкралась ко мне рука.
Как я боюсь, как люблю эту жизнь, до дрожи!
Все начинается с повода, с пустяка:
Падает сердце, и в гуще горячей жизни
Смысл открывается — темный, щемящий звук —
В детском каком-то врожденном он эгоизме...
Вылетел, вырвался... Не возвращайся, жук!

ПЕРЕКЛИЧКА

«Кубок янтарный
Полон давно...»

А. Пушкин

В мире огромном
Не было нас.
Спали мы темным
Сном. Про запас
Долго держали,
Словно в мешке
Или в пенале
Нас, на щеке
Слезы дрожали...
Помнишь в руке
Десятизначный
Тот номерок?
Кто же нас в мрачный
Век приволок?
Рюмки коньячной
Блеск и дымок
Синий, табачный...

О, почему так
Нам повезло!
Жалок он, жуток,
Горе в нем, зло.
Что ж этих уток
Ярко крыло?
Что ж этих лилий
Глянец так бел?
Пристальны были
Взгляд и прицел,
Не погубили,—
Видишь: я цел.

Трудится память,
В пламени вся.
Видишь, поставить
Ширму нельзя,
Полог повесить.
Горным орлам
Грады и веси
Снились,— стихам
Лучше не грезить.
Сколько мне, десять
Лет было там?

Постановлений
Сумрачный слог
И песнопений
Встречный поток.

Все это нынче
Кажется сном.
Что же так взвинчен
Голос мой? В нем
Словно змеится
Трещинка,— бром
Мне пригодиться
Мог бы... Стихом
Сбивчивость эту
Трудно назвать.
Взял сигарету,
Спрятал опять.
Радости нету,—
Где ее взять?

Здесь она, рядом,
В этом окне
С тучей и садом,
И в сыроватом
Ветреном дне.

Здесь она — в книгах.
К тому прижат
Том; в этих бликах
Солнечных; спят
В зарослях диких
Крепче волчат
Пять-шесть великих.

Здесь она: смят
Плед на диване.
В вазе сирень
Третий не вянет,
Дивная, день.

Горестный опыт
Нажит, не спесь.
Видишь, он весь
В этих синкопах.
Радость прохлопал?
Вот она, здесь!

Здесь она: смена
Быстрых картин
Радует; пена
Легких гардин;
Я не один:
Рядом — Елена.

Пробуют вздуться,
Как молоко.
Так разминуться
Было легко!
К дружбам прибиться
Жарким, другим.
Дней вереница,
Рок — аноним,

Темный, кошмарный,
Злой... Все равно
Я благодарный
Взгляд за окно
Шлю,— лучезарный
Кубок янтарный
Полон давно.

* * *

Мы-то знаем с тобою, какие цветы
Всех милей и нежней, как у тихой воды,
К ним склонясь, теребила их ты.

Мы-то знаем с тобою, какая вода
Ниоткуда всех тише течет в никуда,
Под быками какого моста.

Мы-то знаем с тобою, какие слова
Значат больше, чем все золотые права,
Как мягка на откосе трава.

И как глупость, нахмурясь над лучшей строкой,
Ничего не поймет,— мы-то знаем с тобой,—
Будет требовать мысли прямой.

Мы-то знаем с тобою, в каких дураках
Ходит ум в самых лучших, горячих стихах,
Как он сеном и мятой пропах.

Мы-то знаем с тобою средь многих помех,
И забот, и тенет, кто любимее всех,
Сомневаться нам было бы грех.

Мы-то знаем с тобою, кто лучший поэт,
Но пока не прошло ста и более лет,
Никому не расскажем. Секрет!

* * *

Помнишь, в любимом романе смущенный герой
Бабушке вдруг объявляет, приехав в чужой
Город, что, видно, придется им ехать домой.

Срочно, сегодня же, поездом местным — в Париж,
Так ему плохо: директор отеля, крепыш,
Нагл, и швейцар, посмотри, как он важен и рыж.

Чувство усталости и непосильной тоски!
Так вот и ты напугать меня можешь, виски
Сжав, побледнев... Вижу: к бегству мы тоже близки.

Южная пыль и увитый лозою карниз.
Знаю, что приступ. О, если б и вправду каприз!
Дикая ласточка с криком кидается вниз.

Как тебя жаль мне! Как я суечусь, трепещу,
Втайне надеясь, что вдруг твою мысль обращу
К менее гибельной мелочи: платью, плащу

Пыльному. Нет? Ах, к огням в предвечерней тени,
К белому тополю?.. Ляг же скорей, отдохни.
Нет никого. Золотые обещаны дни.

* * *

Есть где-то церковка, увитая плющом,
Им сплошь одетая в клубящуюся ризу,—

Так волны плещутся,— я издали прельщен
Обросшей, затканной, на холм похожей снизу.

Есть где-то церковка. Черты ее лица
Не разглядеть, увы, что страннику обидно.
Вся, вся курчавится, как местная овца,
Кто пострижет ее? Охотников не видно.

Есть где-то церковка. Я знаю где: в глухом
Углу Нормандии, на берегу скалистом.
О, как топорщится, как ходит ходуном,
Струится шерсть ее с отливом серебристым!

Переливается, шуршит на ветерке.
Есть где-то церковка, расшитая листвою,
Плющом увитая, как будто в парике.
Есть где-то церковка... в ней нам не быть с тобою.

Молитва вязкая стоять, как в горле ком,
Там не посмела бы,— колеблется, струится,
Течет, пропитана латинским языком.
Есть где-то церковка и плющ, как черепица.

Карквильской, кажется, ее назвал поэт,
Писавший прозою, спеша, в начале века.
Есть где-то церковка... такой на свете нет.
Вблизи Бальбекских скал; но нет ведь и Бальбека.

* * *

Христианская, может быть, вера
Переделала меньше меня,
Чем возможность из дома, из сквера
Позвонить среди белого дня
И узнать, что сейчас отпустило,
Что сидишь за рабочим столом.

«Нет, не бойся. Нет, лучше, чем было.
Не сейчас. Объясню все потом».

Как я жил, расскажи, Предводитель
Хора, спой, как терзал меня страх,
Он — отбеливатель и краситель,
Заливающий щеки впотьмах
Краской... Там, за волнами морскими,
За припухлостями могил,
Там, в Микенах, там, в Иерусалиме,
В те века телефон не звонил.

Сколько сказано в гулкую трубку
Жалких слов и горячих, слепых!
Если б, черную, выжать, как губку,—
Третий том сочинений моих
Я бы мог предъявить... Изменился
Человек? Еще как! С той поры,
Как ему милый голос явился
В будку, в комнату, в тартарары...

* * *

Мне весело: ты платье примеряешь,
Примериваешь, в скользкое — ныряешь,
В блестящее — уходишь с головой.
Ты тонешь, западаешь в нем, как клавиш,
Томишь, тебя мгновенье нет со мной.

Потерянно смотрю я, сиротливо.
Ты ласточкой летишь в него с обрыва.
Легко воспеть закат или зарю,
Никто в стихах не трогал это диво:
«Мне нравится»,— я твердо говорю.

И вырез на спине, и эти складки.
Ты в зеркале, ты трудные загадки
Решаешь, мне не ясные. Но вот
Со дна его всплываешь: все в порядке.
Смотрю: оно, как жизнь, тебе идет.

* * *

Остынь, возьми слова назад:
Не слышишь, что ты говоришь...
Того не склеит влажный взгляд,
Что хвостиком смахнула мышь,
Живя под плинтусом среди
У нас похищенных крупиц
Земного счастья... Остуди
Опасный блеск своих зарниц.

Тот, кто завидует двоим,
Не знает, слабый, глядя вслед,
Чего их счастье стоит им
В падучем, скользком мире бед,
Каких чудовищ приручить...
Какой наукой для сердец...
(Он сам бы фразу мог продлить)
Во что обходится дворец...

* * *

Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать.
Умерев, как бы рад я минуте такой
Был: воскреснуть на миг, пригодиться опять.

Не зевай! Белой пеночке рыхлой служи,
В надувных, золотых пузырьках пустяку.

А глаголы, глаголы-то как хороши:
Сторожить, убежать,— относясь к молоку!

Эта жизнь, эта смерть, эта смертная грусть,
Прихотливая речь, сколько помню себя...
Не сердись: я задумаюсь — и спохвачусь.
Я из тех, кто был точен и зорок, любя.

Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко... столько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей... пенная, белая страсть;
Как морская волна, окатившая нас.

Тоже, видимо, кто-то тогда начеку
Был... О, чудное это, слепое «чуть-чуть»,
Вскипятить, отпустить, удержать на бегу,
Захватить, погасить, перед этим — подуть.

* * *

А что до теории нашего происхожденья,
То самая грубая принадлежит Эмпедоклу:
Там ноги отдельно от торса стоят в отдаленье,
Там туловище затекло без локтей и продрогло.

Там бык с человечьим лицом, вроде нашего строя,
Глядит на прохожих — и, крадучись, пробуют мимо
Они проскользнуть, не замечены,— дыбясь и роя
Горячую землю, угрюмо глядит, нелюдимо.

И наоборот, человек с бычьей мордой квадратной
Там глухо рыдает, свою осознав неудачу.
Там женский скульптурный пленительный стан ненаглядный
Страдает без рук,— не решить ему эту задачу.

И все это в целом похоже не то на раскопки,
Не то на развалины, что-то от сюрреализма,
От склада гранитного есть в этой свалке (за скобки
Я вынес бы скепсис), от варварства и атлетизма.

От титаномахии! Сколько же надо усилий,
Стараний, но случай надежней всего, совпаденье,
Чтоб лани явились, и люди, и заросли лилий,
И ты, моя радость, волненье мое, загляденье!

* * *

Как женственно-нежна черта береговая!
Налево не смотри, не там, а справа, здесь,
Волной обведена, лежит, напоминая
В пылающих лучах любимый облик весь.

Припал бы к ней щекой, упал в ее объятья...
Налево не смотри, там линия груба
И мертвенно-суха, там будничны понятья
О нежности любви и прелести стиха.

А справа, боже мой, за вечность до сознанья
Сегодняшнего был уже угадан тот,
Нас нежащий союз любви и пониманья
Извивов речевых и стиховых забот.

* * *

Кавказский зной — и бабочка на клумбе,
Кавказский зной — и гравий на тропе,
Кавказский зной — и кто-то, кто нас любит,
Нашел, прильнул и выделил в толпе,
Кавказский зной — и веероподобный
Тростник — и море плещется за ним,

Кавказский зной — и перечень подробный
Земных блаженств... В аду не отдадим
Кавказский зной... Не сравнивай с удачей,
Успехом, славой... Может быть, с одной
Любовью только, влажной и горячей.
Не уходи, побудь со мною, зной.

* * *

Кто мне ссудил и знойный этот день,
И плаванье, и сладкое топтанье
На лежаке (как если бы как тень
блаженное я вел существованье
в стране теней), и мнущий воду винт,
И пляжный тент, и чайку, и дымочек,
И раздевалки тесный лабиринт,
Как бы его фрагмент или кусочек?

Хитрили, гибли, мучили, в плену
Держали, шли на варваров в когортах,
Жгли на кострах, и славили страну,
И реабилитировали мертвых,
Но ничего придумать не смогли
Прекрасней, чем у мыса ли, у рифа
Купанье на краю родной земли,
Что знал уже Улисс и знала нимфа.

* * *

Сегодня — мглистое, сегодня — никакое.
Как бы не выспалось, во сне забыло цвет.
    Не приставай, махни рукою...
Я тоже пасмурен... Меня как будто нет.

Что называется, я с левой встал сегодня
Ноги... Когда б оно сверкало, тяжелей
Мне было б; сонное, оно еще дремотней
    Из-за уснувших кораблей,

Как бы на привязи улегшихся в унынье,
В тоску, в беспамятство, в отказ от новых встреч:
    Как будто маленькие клинья
Забиты в зыбкий грунт, и в мысль мою, и в речь.

Не знаю... Кажется... Наверное... Не буду...
Сейчас не хочется, но, может быть, потом...
Как будто отняли отраду и причуду
    С вогнуто-выпуклым хребтом,

О берег бившую, под самым сердцем лежа.
    Полцарства рухнуло, полдня
Пропало; мнится, мир покрыт гусиной кожей.
Читай... похаживай... не замечай меня.

* * *

Дикий берег пологий и два корабля,
Два военных, дежурящих рядом,
Потому что кавказская снова земля
Ненадежна — и ей под приглядом
Полагается быть,— отнимает у них
Солнце яркое цвет сероватый;
На овчарок похожие сторожевых,
Забавляют тебя, соглядатай.

Отпускник, не желающий вникнуть в конфликт
Двух народов, пропахший шашлычным
Кисловатым дымком, но томит тебя лик
Этой влаги, с ее безразличным
Выраженьем, какой-то зализанный сон,

Воплощенье бессилья и лени,
Где, лишенные цвета, скользят под уклон
Патрули, превращенные в тени.

Что ж, купайся, не думай, что ты виноват,
Разводи этот полог руками,
Раздвигай этот влажный, тяжелый наряд,
Враждовали народы веками,
И мирились, и снова враждуют,— держать
Неужели их лучше на мушке,
Чтоб могли они спорить, дружить, торговать,
Уставать, засыпать на подушке?

* * *

На корабле не знают, сколько глаз
Любуются им в светлый этот час,
Когда, как тень, по плоскости покатой
Крадется он, столь белый, мимо нас,
Как если бы пошла одна из статуй.

Как если бы Гермес иль Дионис
С обшарпанного пьедестала вниз
Шагнул и в путь пустился по тропинке
И виден был бы, то за кипарис
Зайдя, то сквозь перила, паутинки.

На корабле не знают, сколько слов
Ему вослед звучит из-за кустов,
С балконов, лестниц, улочек и пляжей...
Боюсь, к такой нагрузке не готов
Он — белый штрих, деталь морских пейзажей.

Земля и впрямь, должно быть, тяжела,
Коль так легка мечта ее, бела,

Бесплотна так, безбытна, мимолетна,
И плохи, видно, впрямь ее дела,
И зло к сухой пристало слишком плотно...

* * *

Спиною к морю страшно мне стоять:
    Оно шумит, и затихает,
И новым гулом полнится опять.
Стакан в моей руке, вино в стекле играет
    И пенится волне под стать.

    В другой — тяжелую бутылку
    Держу за горлышко с фольгой.
Всё треплет ветерок соленый по затылку
    Меня, с воздетою рукой.
У ног я положил ненужную подстилку.

    Лежать, как видишь, не пришлось.
    Уж слишком вздыблено и грозно
    Оно сегодня, с нами врозь,
    Пустынно, взвихренно, бесхозно.
Ты смотришь в объектив, а кажется — насквозь.

С усмешкой помянув великого голландца,
Жалеешь, что вдвоем нам в кадре быть нельзя.
    Да, море света, море глянца
Стоит перед тобой, мне кажется: грозя,
Идет из-за спины, и гребни золотятся.

На фоне пышных волн, в виду земной судьбы,
Которая страшней любой волны: привычка
Так сделала, что мы как будто не рабы,—
Работники ее... А море что ж? Водичка!
    Вздымайтесь, желтые гробы.

Боюсь ли я ее? Боюсь. Никто не скажет,
Чего нам завтра ждать.
Жестокий опыт нами нажит,—
Тем легче ожидать, что жизнь отступит вспять,
А смерть опять к ногам, как эта пена, ляжет.

Подступит ли толпа с обрезом и трубой
Железной в кулачище,
Натравят ли собак газетных или вой
Читательский найдет крота в его жилище:
В ту ямку воду льют, чтоб встретить у другой.

Скажу, пока волна кипит:
Вжились мы в холода, но, видишь, не остыли.
Жизнь! Горечь! Полный рот песчинок и обид.
Не важничали мы, страдали мы, любили.
За все, за все на нас вина лежит.

За то, что есть стихи на грозном этом свете,
За то, что хорошо играет белый ферзь,
За мокрые кусты, за сохнущие сети,
За то, что мы остались здесь,
Страны своей родной не бросили на ветер.

И все-таки стоял спиной к волне, с вином
Стакан сжимал в руке, и ты меня снимала,
И пена золотым руном
Курчавилась, и в нас из Дрезденского зала
Вперялся карий глаз под шляпою с пером.

Армянская тетрадь · 1987

ВОДОПАД

Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад,
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг,—
Вот кто все берет от жизни, погибая каждый миг.

Весь Шекспир с его витийством — только слепок, младший брат.
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!
Вот где год считают за три, где разомкнуты уста,
В каменном амфитеатре все заполнены места!

Пусть церквушка на церквушке там вздымаются подряд,
Как подушка на подушке горы плоские лежат,
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим —
Даже ветер на вершине мешковат в сравненье с ним!

Смуглых рук его сплетенье и покатое плечо.
Мне теперь ничье кипенье на земле не горячо!
Он живой, а ты — живущий, поживающий, слегка
Умирающий, жующий жизнь, желанья, облака...

* * *

Легко ль реке самой себя глотать?
Кремень, да туф, да охряная глина.
Уж если старшим братом называть
Кого-нибудь, то — брата-армянина.

Потоп сошел, но все еще паркет
Сырыми он пятнает башмаками.

Река кипит самой себе вослед
И горбится, запружена камнями.

Брысь, хищница! Звериный аппетит
На воздухе приходит. Виноградный,
С мясной начинкой, лист во рту горит,
Закрученный сигарой ароматной.

В стране огромной малая страна
Затерянной не хочет быть, не может,
В тысячелетья кутаясь, она
Считает: век не лучший ею прожит.

Но и резню, и казни пережив,
Себя, как в реку камень, не роняет,
Но строит дом, и пробует мотив,
И крутолобых мальчиков рожает.

* * *

Тех бревен не найти, ушли под вечный снег.
Смешно искать следы потопа,— не найдете!
Да он и сам как храм, и сам он как ковчег:
Я видел Арарат в горячей позолоте.

И голуби от тех летят к нам голубей,
И нищий этот пес — потомок той собаки...
В Армении и я на миг, что я еврей,
Почувствую, в своем подспудном роясь мраке.

На слове не лови меня: оно летит,
И смысл его крылат... на севере я дома.
И не было б души, коль не было б обид.
Вглядись: твоя душа во тьме с моей знакома.

Вот счастье — русский стих, он — родина моя.
Все с Пушкиным в одном учились тесном классе.

Когда-нибудь поймем, что мир — одна семья,
На зависть грубой той, презрительной гримасе.

Когда Нева, как конь, свою являет прыть,
«Потоп»,— мы говорим, верней, мы говорили...
А все-таки стихи не перегородить
И дамбой: жили мы, страдали мы, любили.

* * *

Когда б я знал названье тех цветов
В горах армянских, маленьких их ртов
Полураскрытых помню я зиянье,
Их синий шелк,— не всякий миг готов
Я оживить о них воспоминанье.

Что им собор и горная гряда?
Как бы о море синяя мечта
Сухой земли,— стыдливые пролазы,
Вне громких слов и тяжести труда,
В краю, где смуглы все и кареглазы.

Они висят на маленьких кустах.
Всех, всех церквей милей они, в стихах,
Как этот темный камень, не воспеты,
Но словно смерть отогнана и страх
Или на все вопросы есть ответы.

* * *

Сбились в кучу овцы, словно осы,
Крупной дрожью, бедные, дрожат.
Вечный страх, слепой, тонкоголосый,
Вечный сон животный, вечный ад.

Запрудили горную дорогу,
Испугались, выставив зады.

— Объезжай, водитель, понемногу!
— Не дают. Вот глупые скоты.

Или их спасенье в этой куче?
Ведь нельзя же всех передавить!
Лишь одну несчастный серый случай —
Лютый волк задушит, может быть.

Что-то в пыльной этой проволочке
Душно мне,— и вспомнится с тоской,
Как людей берут поодиночке.
Хоть бы в кучу сбились, боже мой!

* * *

Да, да, заботиться о маленькой стране,
Туманном будущем и ветхой старине,
По именам царей всех знать рыжебородых,
Осадок в приторном любить ее вине,
При всех присутствовать ее скорбях и родах.

То вскинет брови он, то, круглые, сведет.
Как мрачен, пылок мой неровный собеседник!
И желтый блеск в глазах, и плотно сжатый рот.
Земли рассохшейся, ее скупых щедрот,
Камней разбросанных дымящийся наследник.

Так, так, но речи мне скучны на гневный лад,
И страшен мне, Самвел, твой воспаленный взгляд
На вещи... Все-таки есть мир и за хребтами
Сухими, черствыми... И рай похож на ад,
Когда он жесткими провозглашен устами.

* * *

Видел мельницу я водяную,
Пыль мучную держал на руке.

За поруку зерна круговую
И воды в бесноватой реке
Выпил с кем-то я стопку, другую,
Гость есть гость, и платан вдалеке.

Отдышаться вода на уступе
Не успеет: ей страшно, темно.
Темно-карие очи потупит:
Славят воду, а хвалят вино.
Ходит каменный в каменной ступе,
Давит жернов сухое зерно.

Мне-то нравилось светловолосой
Любоваться льняной головой
Средь разлапистой, грубоголосой,
Черногривой ватаги мужской,
Но сосед мой подмигивал косо:
Разве к нам приезжают с женой?

Ад и рай разместив в Аштараке
И воды напустив через край,
Показали нам, как после драки
Пенный ад превращается в рай.
— Не дает тебе выпить, бедняге.
Еще раз без жены приезжай.

Эта жизнь перемелется — будет
Знаю что... Старый мельник в муке.
Мы уедем — он тут же забудет,
Как держал мою руку в руке.
Ах, какие хорошие люди
За столом, и платан вдалеке.

* * *

«Ваза откуда такая большая?» — «Из Бжни».
«Плохо я знаю историю, уж извини!

Сколько ей, триста, четыреста?» Хмыкает: «Нет,
Ей, дорогой, тысяч пять,— улыбается,— лет.

Видишь, еще не умели и плоское дно
Делать, потрогай: как выпукло, кругло оно».

Грубая глина, шершавая глина, с боков
В маленьких трещинках, смотрит на нас, мотыльков.

Ах, рядом с ней саблезубый Ашшурбанипал,
Как пузырек в минеральной воде, выкипал.

Пусть я ошибся... правителя имя — Ашот.
Что за вода в узкоплечей бутылке живет!

Жгучая, беглая, вечер весь пью — не напьюсь.
Стыдно признаться, что я этой вазы боюсь.

* * *

Как я соскучился по чистой русской речи,
Я армянину не скажу:
Ведь он второй язык взвалил себе на плечи,
К спряжению припав чужому, падежу.

На улице крутой, одышливо-лиловой,
Запнется, спрошен мной,
И кажется, как лев, как бык он двухголовый,
И думает двумя, не то что мы — одной.

О, как мне нравится земля с отливом медным,
Гора с небритою щекой!
Как я соскучился по тем стогам бесцветным,
По русской прозе дорогой!

Незаменимая услада!
Нигде, нигде такой зеленовлажной нет.
Откуда знаю я? Ах, мне довольно взгляда
На камень треснувший и глины желтый цвет.

* * *

Неужто отчество от имени Тигран
Должно быть в паспорте Тигранович? Нелепость.
Страна огромная вобрала много стран.
Прочней всех древностей языковая крепость.

И это странное, не знаю что: оглы,
Прибавку к имени не впрячь в свои оглобли.
Пасутся лошади, парят в горах орлы,
Сквозят за крышами совсем иные кровли.

Смотри: мы разные. Опасен долгий путь.
Всех, всех любить должна, любого к изголовью
Пускать, усаживать, просить: все, все забудь.
Хвалить, привязывать не страхом, а любовью.

* * *

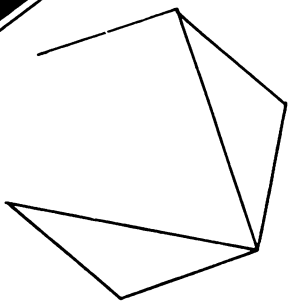
Лишь когда провожал нас у стойки в аэропорту,
Он сказал мне, какое несчастье с ним в прошлом году
Приключилось,— не лучший глагол он в чужом языке
Отыскал в толчее на армянском сухом сквозняке.

Сын его утонул... Где вода среди этих камней?
Так что даже не с ним приключилось, а с сыном скорей.
Надо очень стараться, чтоб воду для смерти найти.
«На Севане?» — «В грозу...— Улыбнулся, сказал мне: —
Прости».

Наши бедные мненья о национальных грехах,
О восточном кипенье, о жарких словах впопыхах!
О, какой англичанин сказал бы вот так, у перил,
Как смертельно он ранен!.. Когда б я внимательней был...

Я бы понял, что взгляд неспроста его влажен, как та
Среди каменных гряд голубая, слепая среда,
Не спросил бы вчера, просто так, захмелев от вина,
Холодна ли в Севане вода? Он сказал: «Холодна».

Прекрасный сор



* * *

В реальности нельзя — в романе можно
Вообразить, как Цезарь над Катуллом
Склоняется поправить осторожно
Мохнатый плед, поскрипывая стулом,
Не плед, а плащ, не стулом, а банкеткой;
Скамьей, софой, неважно чем — сиденьем!
— Чем мне помочь, Катулл, тебе,— таблеткой?
— Нет, разговором, Цезарь, утешеньем.

— Так слушай: жизнь страданий наших стоит,
Ты знаешь сам, как Рим прекрасен ночью,
Когда любовник юный под листвою
Крадется сквозь столицу эту волчью,
Как сладок пир с веселыми друзьями,
Какие звезды колют сквозь ресницы,
Сияя нам в волшебной этой яме,
Горячей смерти нашей очевидцы.

Не плачь, Валерий! Стоила стараний,
И слез, и жалоб: доводов мне хватит.
Как кроток Тибр в час утренний, в час ранний,—
Как высвободившийся из объятий,
Чтоб написать стихи о переходе
К дневным трудам на загородной вилле.
Прочтет их кто-то: даже в переводе
Они его взбодрили и пленили...

* * *

Проживи Катулл еще лет десять,
Не умри, истерзанный так рано,
Разлюбил бы Клодию — и грезить
Перестал, и огненная рана
Не болела бы, не кровоточила,
Полюбил бы новую подругу,—
Наизусть бы стихи его учила,
К слову каждому льнула бы и звуку.

Боже мой, о Крассе и Помпее
Он не знает, как они погибли,
И как вырос в этой эпопее,
Закалился Третий в этом тигле,
Цезарь жив для него и будет вечно
Жив,— а как бы замыслы кривые
Он воспел, оплакав бы, конечно,
Двадцать три его раны ножевые!

Он прочел бы главы из «Буколик»
Молодого ровного поэта:
Сельский вид, под вязом — круглый столик,
Неизвестно, как бы он на это
Посмотрел: коровы да овечки —
Тоже мне сюжет для стихотворца!
То ли дело — строки без уздечки,
Вольный стих, что мчится, как придется.

Вы, Лициний Кальв и пылкий Цинна,
Вы, друзья, в кровавых передрягах
Смерть найдя, в порывах ваших львиных
Дышит пламя, как в альпийских маках,
Тем грядущая тяжелей прохлада,
Жесткий взгляд, подстриженная челка...
Долго жить в железном Риме надо,
Но, наверное, не слишком долго.

* * *

Кто сказал, что нужны поэту темы,
Что они тем нужнее, чем весомей?
Воробей, рассмотри-ка с ветки, где мы?
В Древнем Риме? В республике ли Коми?

Или Северная под тобой Пальмира,
Льдом декабрьским покрытая, как лаком?
Я-то помню, кем ты воспет, проныра,
Кем в стихах возвеличен и оплакан!

Лучший сборник, оттертый пемзой жесткой,
От которого, видишь, все мы пляшем
С той поры, что Верлен, что Маяковский,
Освящен твоим пухом и украшен.

Открывает его стихотворенье
О тебе, взгромоздившемся нелепо
На живот,— если не считать вступленья,
Где помянут дружок Корнелий Непот.

О тебе, примостившемся на лоне
Сбнаженной подруги равнодушной...
В Ленинграде продрогшем ли, в Вероне —
Всюду заговор наш гнездится дружный,

Критиком не раскрыт медноголовым
Два уже моровых тысячелетья!
Не страшна с воробьиным этим словом
Смерть, и слабость,— и не боюсь стареть я.

* * *

А ты, стремление к свободе,—
Подарок родины другой,
Во снах всплывающей, мерцающей в природе
За влажным пологом, за тающей рекой.
Однажды плыл я так на тихом пароходе
В лугах петляющей, туманною Окой.

Казалось, не было ни лжи, ни принужденья,
Ни разоренных деревень.
Еще свобода нам порой в стихотворенье
Приоткрывается, но вдруг находит тень —
Какое-нибудь столкновенье
Слов неудачное, и мысли спад, и лень.

Не научиться ей — врожденный дар, подарок.
Неточно выразился в первой я строке:
Нет, не стремленье к ней, а сразу, без помарок,
Ее явленье налегке
Подобьем радужных, вдали дрожащих арок.
Она не в тяжести — во вздохе, в пустяке!

В сердцебиении; ей вербы служат, грозы,
И Моцарт, связанный контрактом по рукам,
Высокомерия и позы,
Как дождь, не знающий, естественен и прям.
Упершись в бедные колхозы
Концами, выгнутый вставал навстречу храм.

Свободолюбие тут ни при чем — другое
В виду имеется, и вовсе не борьба,
А радость, чувство дорогое
Того, что вот душа — не тяжесть, не раба.
Пылай же, радуга, и, влажный под рукою,
Стынь, поручень, дыми, труба!

* * *

Б. Ахмадулиной

Какое равенство? Смугла и пышнокрыла,
Вся в черном бархате, как южной ночи мгла,
Явилась яркая, всех бабочек затмила,
Витражных, пламенных смежила два крыла,
Зубчато-сводчата и недемократична,
Перепорхнула вдруг и села на рукав,
Так в скобках в адресе указывают: «Лично»,
К тому из спорящих, кто, мнилось, был не прав.

К тому из спорящих, кто жизнь в нелучшем виде
Нам предлагал любить, увы, какая есть:
И в смерти равенства нет тоже, не взыщите.
Нерона помнят все, а те, чья кровь и честь
Им были втоптаны в грязь римскую,— забыты.
Мигала бабочка, прижавшись к рукаву,
Несправедливости подружка и Обиды.
А где, скажи, еще ей преклонить главу?

* * *

Я представить себе не могу, не могу,
Как Мане где-нибудь под зонтом в Тюильри,
А Моне под скалой на морском берегу,
А Сезанн в этот час, обогнув пустыри,
А Ван Гог средь олив, их солдатских рядов,
Ах, и сам, как солдат, он обрит и суров,
А Гоген в тот же день среди черных вождей,
Нет, еще до вождей,— среди арльских жердей,
А еще Писсарро, а еще Ренуар,
А еще лепестковый парижский бульвар,
И глядит их глазами на все под шумок
С ними вместе и с каждым в отдельности Бог.

* * *

Жизнь загадочней любого сна: любимый романист
Был похож на продавца ковров, я вычитал, восточных.
Почему ее узор так прихотлив, а мог бы чист
Быть,— не хочет! Любит выгнутость фантазий полуночных.
О, как вежлив был, как ласков, обходителен, речист!
Дам расспрашивал про платья: это шелк у вас, батист?
Обладатель вкусов вычурных и, кажется, порочных.
Хорошо! А вот платановый, резной, узорный лист,
Что он, прост? Грубее трещинок ветвистых, потолочных?
Спал я, спал; когда проснулся, день не ясен был, а мглист.
Ах, и Бог, во-первых, все-таки творец, а моралист —
Во-вторых... Что туч причудливей, пышнее клумб цветочных?

* * *

Говорю тебе: этот пиджак
Будет так через тысячу лет
Драгоценен, как тога, как стяг
Крестоносца, утративший цвет.

Говорю тебе: эти очки.
Говорю тебе: этот сарай...
Синеокого смысла пучки,
Чудо, лезущее через край.

Ты сидишь, улыбаешься мне
Над заставленным тесно столом,
Разве Бога в сегодняшнем дне
Меньше, чем во вчерашнем, былом?

Помнишь, нас разлучили с тобой?
В этот раз я тебя не отдам.
Незабудочек шелк голубой
По тенистым разбросан местам.

И посланница мглы вековой,
К нам в окно залетает пчела,
Что, быть может, тяжелой рукой
Артаксеркс отгонял от чела.

* * *

Летом в городе солнце с утра —
Архитектор, колонны и арки
Возводящий,— с ним рядом пера
На бумаге так жалки помарки!

Летом в городе рядом с тобой,
Где — не важно — в кафе или дома,
Воздвигается город другой
За окном, здравствуй, Падуя, Рома!

О, пылай, расступайся, лучись,
Вырастай из мильона пылинок...
Воронихин, у солнца учись!
Что за храм, что за склад, что за рынок!

И какой снабжены глубиной,
Тень какую бросают густую...
Если б кто-нибудь рядом со мной
Так строку выводил золотую!

Стой! Куда ты? Не видишь колонн?
Посмотри, ты проходишь сквозь стену...
Ах, как идол, и я позлащен,
Блещут пальцы,— куда я их дену?

* * *

Л. Петрушевской

Положиться на Господа Бога —
Как бы лечь на морскую волну,
Отдыхая: сильна и полога...
А безверие тянет ко дну?
Или с ним еще легче: не надо
Каждый день беспокоить, просить?
Ах, и верить душа моя рада,
И не верить, и весело жить.

Но когда под обрывом натянут
Синий шелк без морщинки на нем,
И стеной вертикальной обманут
Взгляд, как в комнате с ярким ковром,
И какая-то веточка сбоку,
Как цыганка в цветах, пристает,
Ах, не в Бога я верю, а Богу
Верю, дышит он, блещет, цветет!

* * *

Красные, красные, красные кресла, красные.
Господи, как хорошо, почему — не знаю!
Что-то случится, приедут друзья напрасные,
Милые, добрые, к августу, лучше — к маю.

Сами ль уедем и волны увидим синие,
Синие, синие, и берега крутые,
Ржавые сосны увидим, а лучше — пинии,
Черные скалы и белые мостовые.

А ничего не случится — и тоже весело.
Как они связаны, зренье и слух! Обставил
Музыку красными кто-то резными креслами,
Зверя — флажками и радости нам прибавил.

Цвет — это что? — извинившись, спрошу художника.
Цвет — это Бог.— А не звук? Не шероховатый
Плюш подлокотника? Ласковость подорожника?
Клевером пахнущий день и пушистой мятой?

Купол увидим крутой в обрамленье благостном
Монастыря и в музее — обломок мачты...
А ничего не увидим — и тоже радостно,
Лишь бы вдвоем, здравствуй, серенький день, невзрачный!

* * *

Что такое музыка — не знаю.
Кто мне это объяснит?
В белый зал войду, устроюсь с краю.
Жизнь, и смерть, и жалоба, и стыд.

Как поют, как нежат эти звуки!
Многострунный, райский грех.
Вот сейчас, сейчас под белы руки
Буду взят и выведен при всех.

Не меня — его! Лицо руками
Он закрыл и спасся. Я пропал.
Прямо в сердце, в сумрачное пламя
Слуховой ведет канал.

Вот чего стесняться надо — слуха!
Жизнь на всю раскрыта глубину.
Миг назад на жизнь смотревший сухо,
Как слезу, с ресниц ее смахну.

В этом смысле все мы однополы,
Все глядим сквозь райскую листву.
Вы мне странны, брюки и подолы.
Андрогин внимает Божеству.

То любовь совсем, совсем другая,
Без надрыва и обид!
Гаснет звук. Изгнание из рая.
Гасят свет. Прощай. Рояль закрыт.

* * *

Как же, как же, с другим говорила,
А тебе под столом пожимала
Руку,— все это, господи, было,
Слава богу, прошло, миновало,
Те мостки снесены и перила.
Вот уж нет, не хотел бы сначала.

Как же, как же, важней обещанье,
И не помню совсем исполненья.
Помню только тот миг, упованье,
Ликованье, смущенье, томленье.
И как будто к нему все вниманье,
Тем настойчивей переплетенье

Пальцев, как же, горячих, до боли,
Так, наверное, что побелели...
Жизнь, в твоей увлекательной школе —
Наяву это было, во сне ли? —
Доставались нам жаркие роли.
А без них как бы мы поумнели?

* * *

Весны прекрасный сор: все эти молоточки,
И кисточки, и пыль зеленая, и прах,
Янтарные крючки, алмазные цепочки,
Валяющиеся у нас с тобой в ногах,
И тополь обведен каким-то желтым кругом,
Но звук совсем не тот, что осенью, ничуть
На шелест не похож, и весело мне с другом
Похрустывать, давя расползшуюся ртуть.

Топтать их нам не жаль,— скрипучие излишки,
Избыток юных сил, как радость, через край
Бегущая,— бог с ней! — как пена из-под крышки,
Зато в ветвях — листвы несчитанный Шанхай
Так свеж, так прихотлив, так смерти недоступен,
Увы, еще шуметь едва умеет он,
Но сыпятся с него отходы эти, струпья —
Залог густых теней и многодумных крон.

* * *

Черемуховые холода —
Так это в мае называется.
Пройдут? Надеемся, что да.
Но дуб еще не одевается
В листву, еще стоит, похож
На статую самофракийскую,—
Я видел в Лувре ту же дрожь
И мощь как бы артиллерийскую.

Спросить калибр ее ствола
Хотелось: нечего загадками
Дурманить нас,— размах крыла
Узнать; на дубе теми ж складками

Поражены мы, словно он
(Она) в морскую зыбь завернуты,
Как в плащ, до пят. Париж был сон,
И мглой мосты его задернуты.

Но и черемуха пройдет,
Белым-бела, как сновидение,
Среди зияний и пустот,
Как предисловие, введение
В тень липы, в пасмурность ольхи.
Зато зимою в теплой комнате
Напомнят мне твои духи
Ее, те заросли и склоны те.

* * *

Как раскапризничавшийся ребенок,
Что упирается, и канючит,
И тянет за руку мать, силенок
Откуда столько,— так туча тучей
Душа глядит, ничего не хочет,
И блеску волн, и статье журнала
Сопротивляется что есть мочи,
А дело в том, что она устала.

Ругать не надо,— сильней заплачет,
Отшлепать — господи, рев поднимет,
Спать, спать, скорее домой, в горячий
Сон, на руках уже спит, обнимет
За шею, спит, поскорей чулочки
Стянуть, в постель уложить — и всхлипы
Все реже, спит, родилась в сорочке —
И спит. Пусть клены шумят и липы.

* * *

Перед отъездом, перед разлукой
С комнатой, креслом, стулом, диваном
Чувствуешь: радость сцеплена с мукой,
Вещи обводишь взглядом туманным.

Вдруг ощущаешь, как расставаться
Жаль с надоевшей жизнью привычной,
С глиняной вазой, с тусклым румянцем
Розы засохшей, меланхоличной.

Вынесен мусор. Недосмотрели.
Поздно. «Присядем».— «Ну, ты довольна?»
Пусть ненадолго, на три недели
Едем,— не знаю: сладко мне, больно?

Сладко и больно. Знаешь что,— книги!
Больше всего мне книги оставить
Жаль... Тот репейник, цепкий и дикий,
Ночью пришел мне, грубый, на память.

Не перечел. А теперь уж точно
До возвращенья не прочитаю.
Гибкой форели в воде проточной
Жаль, этот камень, белую стаю.

* * *

Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.
Что ни год, кто-нибудь умирает в огромной родне.
    Тем пронзительней южные краски,
Полыхание роз, пенный гребень на синей волне,
Не желающий знать ничего о смертельной развязке,
    Подходящий с упреком ко мне.

Сам не знаю, какая меня укусила кавказская муха.
    Отшучусь, может быть.
Ах, поэзия, ты, как абхазская эта старуха,
    Все не можешь о смерти забыть,
Поминаешь ее в каждом слове то громко, то глухо,
Продеваешь в ушко синеокое черную нить.

* * *

Тень чинары на белой земле —
Будто черный прорыт ею ров.
И по грудь в его сумрачной мгле
Ты стоишь, умереть не готов.
Синий цвет, до чего он лилов
В этом войлочном, ватном тепле!

Перейди его, перешагни:
Не тебе в этом пекле лежать,
Постоял в азиатской тени —
И гуляй себе с миром опять,
Справедливость ее оцени,
Постарайся намек не понять.

Смерть и сухость — не наша печаль,
Смерть и осыпь — не наша беда,
Все равно что цветущий миндаль
И на выжженных склонах стада,
И горюет зурна — не рояль.
Сырость-смерть, подожди, смерть-вода.

* * *

Ушел от нас... Ушел? Скажите: убежал.
Внезапной смерти вид побег напоминает.

Несъеденный пирог, недопитый бокал.
    На полуслове оборвал
Речь: рукопись, как чай, дымится, остывает.

Не плачьте. Это нас силком поволокут,
Потащат, ухватив за шиворот, потянут.
    А он избавился от пут
И собственную смерть, смотри, не счел за труд,
Надеждой не прельщен, заминкой не обманут.

Прости, я не люблю стихов на смерть друзей,
Знакомых: этот жанр доказывает холод
Любителя, увы, прощальных строф, при всей
    Их пылкости; затей
Неловко стиховых, и слишком страшен повод.

Уж плакальщиц нанять приличней было б; плач
    Достойней рифм и ямба.
Тоска, мой друг, тоска! Поглубже слезы спрячь
Иль стой, закрыв лицо, зареван и незряч,—
Шаблона нет честней, правдивей нету штампа.

* * *

Замерзли яблони и голые стоят,
Одна-две веточки листвой покрыты редкой,—
Убогий, призрачный наряд.
Как Баратынского прикован был бы взгляд
К их жалкой участи, какою скорбью едкой
Обуглен был бы стих! Ну что ж, переживу
Легко крушение надежд... на что? На годы
Плодоносящие. Где преклонить главу?
И не такие назову,
Молчи, не спрашивай, убытки и расходы.
А тот, с кем я сажал их лет тому назад
Пятнадцать, новости печальной не узнает,

И если есть тот свет, то значит, есть там сад,
Где он задумывает ряд
Нововведений, торф под яблони сгружает,
Приствольный круг рыхлит — и, вспомнив обо мне,
Кого-то просит там бесхитростно за сына
И улыбается, и страх, что на войне
Томил и мучил в мирном сне,—
Забыт, и к колышкам привязана малина.

* * *

А. Машевскому

Не может быть дурной молитвы.
Не станет Бог сидеть в засаде
Для вас. Почувствуете стыд вы
И страх. Молчите, бога ради.
Так говорит в «Алкивиаде»
Своем Платон. И в самом деле
Молитвой быть злоумышленье
Не может. Все равно что сзади
Напасть. Как я люблю вас, ели!
Как вы толпитесь в отдаленье!
Нет вас угрюмей и лохматей.

Как тешат взгляд на дальнем плане
Темно-зубчатые громады!
Что просят лакедемоняне
У тех, кто им на помощь рады
Прийти (Я с книгой на диване
Сижу, я взял ее на дачу...)
И в мирной жизни, и в тревоге?
Чтобы к хорошему в придачу
Еще прекрасное им боги
Послали. Вот и все. Я плачу,
В скупые вчитываясь строки.

БОЙ БЫКОВ

Я видел, как смерть выбегает из тьмы
На воздух, как с нею играют вприпрыжку
И жалят за все, с чем когда-нибудь мы
Столкнемся, разят, пропуская под мышку,
Вонзая в загривок ее острия,—
И смотрит, набычась, увешана острым,
Несчастную вспомню когда-нибудь я,
К ее привыкая обыденным сестрам.

Я видел, как смерть обижают, шутя,
Смеются над дикой, угрюмой, дремучей,
Как бы вокруг пальца ее обведя,
Запомню на всякий мучительный случай,
Как жарко горит золотое шитье,
Как жесты ее победителя ловки,
Как, мертвую, тащат с арены ее
В пыли и позоре на длинной веревке.

* * *

Потому что жизни нет без фальши,
Без тоски, без жгучего стыда,
Жить от самого себя подальше
Я хотел бы иногда,
Как от толстой этой генеральши
В кружевах, как на небе — звезда!

О, сиять, сиять с небес, уставясь
В темный лог, в дремучий бурелом!
А еще тщеславие! и зависть!
Со вторым, клянусь, я не знаком,
Как цветок, лелея завязь,
По ночам, за письменным столом.

Сладковатая забота
Отгоняет лень и сон.
Все же любишь ты меня за что-то —
Этим я с собою примирен.
Не без грусти жизнь, не без расчета,
Смех, и страх, и вырвавшийся стон.

* * *

Пол не безлик, хотя и наг.
Кто говорит, что пол угрюм,
Забыл, как весел может мрак
Быть! Ах, тюльпан не то что мак.
Ленор не то что Улялюм.

Душа не то, что нам твердят
В течение двух тысяч лет
О ней. От головы до пят
Вся — дрожь, вся — жар она, вся — бред!
Ее целуют, с нею спят.

Она на пальцах у меня,
На животе, на языке,
И ангелы мне не родня!
И там, где влажного огня
Мне не сдержать, и на щеке.

АПОЛЛОН В ТРАВЕ

В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.

Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,
Тем ближе к музыке оно;
Тем горячей, чем бесполезней.

Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давильне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.

Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадней времена.

Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град в траве лежи.

* * *

Две маленьких толпы, две свиты можно встретить,
В тумане различить, за дымкой разглядеть,
    Пусть стерты на две трети,
Задымлены, увы... Спасибо и за треть!

Отбиты кое-где рука, одежды складка,
И трещина прошла, и свиток поврежден,
И все-таки томит веселая догадка,
    Счастливый снится сон.

В одной толпе — строги и сдержаны движенья,
И струнный инструмент поет, как золотой
Луч, боже мой, хоть раз кто слышал это пенье,
Тот преданно строке внимает стиховой.

В другой толпе — не лавр, а плющ и виноградный
    Топорщится листок,
Там флейта и свирель, и смех, и длится жадный
Там прямо на ходу большой, как жизнь, глоток.

Ты знаешь, за какой из них, не рассуждая,
Пошел я, но — клянусь! — свидетель был не раз
Тому, как две толпы сходились, золотая
    Дрожала пыль у глаз.

И знаю, за какой из них пошел ты, бедный
Приятель давних дней, растаял вдалеке,
    Пленительный, бесследный
Проделав шумный путь в помятом пиджаке...

* * *

Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен,— ах, сирены с безумными их голосами! —
    Ни циклопов,— привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Все в порядке у них, и над каждым — дежурный портрет.

    Нет разбойников, нимф,
Это всё — на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
    Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив.

Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
Из любимой страны...
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.

Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
А не дрок, олеандр.

А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, все сказал, что хотел, не солгал никому,—
И остался неведом.

В благосклонной тени. Но когда ты умрешь, разберут
Всё, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.
Скольких чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!

Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой — твоя родина, беды, грехи.
Человек умирает — зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская, упрямая кротость!

Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навевая любовь к заметенной снегами стране...
Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо.

* * *

Он пишет стихи — триолеты, сонеты,
Читает их первому встречному в зале,
И в холле, и в поле, и в роще, и Леты,
Боюсь, берега б его не удержали
От этой свирепой и сумрачной страсти,
Какого-то мрачного, злого напора,
Что ближе к Электре, клянусь, к Иокасте,
Чем к нам,— Корифей из фиванского хора.

Пусть слушатель, пойманный им на пороге
Литфонда, столовки, писательской лавки,
Ждет, переминается,— древние боги,
Увы, не читавшие Рильке и Кафки,
Внимают священному этому реву:
Им смысл уловить помогает тональность,
Еще бы! Умели и деву в корову
Они превратить, попирая реальность.

А то еще снов эротических груду,
Какие нам с вами, конечно, не снятся,
Он вывалить рад: про поднос, и посуду,
И голых прислужниц, и скользкие танцы,
«Оргазм,— объявляет на все помещенье,—
Соитье с фантомом в обличье соседки
По дому, потом,— говорит,— отвращенье
К ней в жизни при встречах на лестничной клетке».

Жена его тут же стоит, потакая
Отчасти признаньям рискованным этим:
Зато он нескрытен, и доля такая
Ее, и поэтам все можно, как детям,
Тем более что седоватый ребенок
И пуговиц всех застегнуть не умеет,
И враг начеку, и живет как спросонок,
И демонских чар без нее не развеет.

Опомнишься: страшно тебе его, жалко?
С сомненьем глядишь на него, с содроганьем?
Тебя он не видит, ты прутик, ты палка,
Ты с веточкой схож для него очертаньем,
Кивающей мелко ему, как придется,
Сама повседневность, земная рутина...
Он к Рильке взывает, он Кафкой клянется,
Он сам лучше всех перевел Гельдерлина.

Он с Максом бы должен дружить, с Вячеславом!
Но он задержался в мешке или яме
Дожизненной, в черном кармане дырявом —
И вот обречен на общение с нами,
Итак, декадент! Я считал порожденьем
Эпохи все эти черты, разговоры,
А это — характер, по всем наблюденьям,
Упрятанный в тучную почву, как споры.

БЕГ С БАРЬЕРАМИ

Смотрел я, затаив дыханье,
На бег с барьерами, его на вазах нет
И чашах, это наш придумал век: вниманье!
На скорости — не сбить, не рухнуть, в мире бед
Раскинуться на миг и снова подобраться,
И, вытянутою ногой
Невидимую дверь распахивая, клясться
В готовности порог с разбега взять любой.

На самом деле я не ведаю, где икры,
Где голень, речевой запас умней меня.
Когда бы грек и впрямь увидел наши игры!
То птицу б он признал в бегущем, то коня.
Печалиться не надо.

Мир был бы слишком прост без спешки дорогой.
А рифма — не барьер? А жалость — не преграда?
Ты видишь: новый вид возник при нас с тобой.

* * *

Снежок, снежок
Колючий, боже мой, какой же он горячий!
Сырого холода почувствуешь ожог,
Дыханье радости, волнение удачи.

Родных, замерзших что белее берегов?
Никто не выловит подледной зимней рыбки.
Международных дураков
На их симпозиумах мучают улыбки.

А доморощенных — обида, и тоска,
И тяжесть гиблая подспудной мысли задней.
Они-то сделаны из одного куска.
Что сердца пристальней, что жизни ненаглядней?

Будь тверд, мой друг,
Нет, мягок, ветрен будь, отходчив и уступчив,
Как этот бережный над городом испуг,
Идущий медленно — не важен, а задумчив.

Звезда, звезда
Лоснится снежная, на сонный пух подую.
Уединенного труда
Судьба послала нам возможность дорогую.

* * *

Церковная мне мышь приятна потому,
Что всех она бедней в народной поговорке.

Улыбка осветить способна эту тьму,
Как солнца луч — холмы лесные и пригорки,
И сердцу говорит, и тянется к уму,
Травинки не забыв, пропащей хлебной корки.

Я думаю: когда б чуть-чуть повеселей
Мы были и добрей апостолы глядели
На нас с холодных стен, как смотрят на детей,
Скорей бы мир пришел к своей волшебной цели,
Сквозящей из-за всех печалей и смертей,
Которые, скажу ль, немножко надоели.

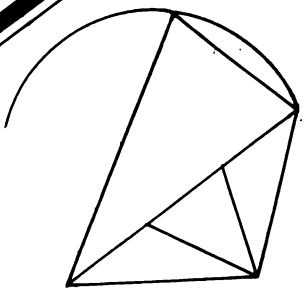
* * *

С. Лурье

Если правда, что Чехов с Толстым говорили впервые в пруду,
По колено в нем стоя, то как же Господь ерунду
Обожает, неважно, быть может, стояли по грудь.
Любо-дорого вот что: те мошки, та желтая муть,
Что со дна поднимается, бойкие те пузырьки.
Вообще вспоминается проза: плесканья, шлепки
По воде,— это в чеховском было рассказе уже.
И наверное, Бог, улыбаясь, прозаик в душе.

Знаете, как в пруду говорят, уходя с головой
Под воду: «Ваш рассказ» — и нырок — «про жену и другой,
Про собаку»,— нырок — «хороши, а досадно чуть-чуть,
Что нет общей идеи...» — «Простите, вам слепень на грудь
Собирается сесть...» и так далее. Мир мелочей,
Перетянутых в талии платьев, палящих лучей,
Золотых головастиков... Бог, разговором задет,
Не уверен, есть общая мысль у него или нет?

Новый Орфей



* * *

Я убедился в том, что есть и впрямь на свете
    Париж и Рим.
Агностик, жди в своем немецком кабинете,
    Зайду — поговорим.

Не думаешь же ты, природе строя глазки
    При сумрачности всей,
Что силою мечты я, как в арабской сказке,
Сумел соорудить Собор и Колизей!

Но, мудрый, знаешь ты: побаливает шея,—
    Простительный недуг.
Как не обзавестись мне комплексом Орфея?
Чуть что — смотрю назад: смятенье и испуг.

— Париж, ты где? — В тени, двухбашенной громадой.
— Рим, где ты? — В двух шагах, с аркадой челюстной,
    С тысячелетнею прохладой,
Как пломба вставленной в непроходимый зной.

Брожу ли, пасмурный, вхожу ли я, сижу ли,
Глаголы милые в заветный ставя ряд,
На шумной улице, во храме ли, на стуле,—
    Я Люксембургский вижу сад.

И в нем — приезжего, с блестящими глазами,—
Не африканец ли, так смугл он и курчав? —

Как будто с мерными стихами
Свой шаг сверяющего, смерти избежав.

Мне снится лестница в два рукава с речною
Повадкой, мраморная, вниз
На площадь скатываясь,— прихоть, ты со мною!
Причуда, я тебя ношу с собой, каприз.

И завалившаяся за диван тетрадка,
В пыли лежащая под ним,
Найдясь, надеждою сжимает сердце сладко,
Что я не выдумал, что есть Париж и Рим.

* * *

Ничто так к смерти нас не приближает,
Как сбывшееся желанье.
Вот почему Венеция внушает
Не только радость, но и содроганье,
Не только счастье, но и опасенье.
Раскрывшиеся объятья
Навстречу нам — услада, и томленье,
И влажный луч... Надень, Даная, платье.

Втяни живот, а жаркие браслеты
Замкни в шкатулку... Вот они, отчасти
Пугающие приметы
Грозящей смерти: сбывшееся счастье,
Любимый труд, поездка за границу.
Китс умер в Риме,
И Баратынский музой смуглолицей
Обманут был, волнами голубыми.

Как нас томят и тешат перемены,
Свершающиеся сегодня!

За пологом, упрятана в глубь сцены,
История стоит, как эта сводня
На полотне, с неверною улыбкой...
Прислушаемся к поэту?
Ему все мнилось: счастлив он ошибкой.
Или поверим солнцу и браслету?

* * *

Париж двусмысленный в двухбашенной красе
Как жить — не думает, живет себе — и весел!
Кружась как белка в колесе,
Сорваться вдруг готов со стульев всех и кресел
И, дверь зеркальную толкнув, бежать... За кем?
Нам легкомыслия б занять чуть-чуть, хоть малость!
Я выпью что-нибудь и съем —
И вдруг почувствую смертельную усталость.

За всех, оставшихся за тридевять земель,
Смотреть я должен в восхищенье
На Елисейские, в огнях, Поля; не хмель,
А горечь голову мне кружит, оскорбленье —
Вот что я чувствую, тоску,— не подходи,
Официант, ко мне с вопросом.
Я жил на привязи всю жизнь, я взаперти
Жил, я к декабрьским не привык помятым розам.

НОВЫЙ ОРФЕЙ

Я в аду, прекраснейшем на свете,
Побывал, новейший Вавилон
Видел я, с монеткой в турникете
Застревал; казалось: снится сон

Перевернутый, инопланетный,
Небоскребозубый, золотой,
На осот похожий сложноцветный,
Очередный, остронадрезной.

Выемчато-перисто-зубчатый,
Стреловиднокрылый, как сорняк,
Всех цветов роскошней, виноватый
В чем? Не знаю. Каменный бодяк.
Нет, репейник, пламенный колючник,
В голубых огнях чертополох,
Укрыватель, зритель и разлучник,
Соблазнитель, прячущий подвох.

Это в нем, Орфея вспоминая,
Я с тенями виделся друзей:
Проступала бледность неземная,
Чуть смущались зоркости моей,
Не хотелось выглядеть им жалко
В синем «форде», в желтом «шевроле»...
Вырицкая разве нам гадалка
Обещала встречу на земле?

Ничего она не обещала,
Предсказать, грязнуля, не могла...
Взять за плечи, все начать сначала!
Дорогие, милые тела!
Кто там, Цербер мечется у входа
Иль ветла на темном рубеже?
Мы-то знаем, как растет свобода,
Вызревает медленно в душе.

Здесь она иная... Дайте руку.
Просто тихо следуйте за мной.
Но, поверив в вечную разлуку,

Трудно голос слышать из былой
Жизни... В рай, печальнейший на свете,
Заметенный снегом, хода нет,
И с английским призвуком их дети
Говорят по-русски в десять лет.

* * *

И. Бродскому

Мы свиделись. И мы, смутясь, поговорили.
Пятнадцать лет кипел, с поземкой на волнах,
Меж нами океан, с клоками белой пыли.
Но лучший разговор не в жизни, а в стихах.

— Разочарован? — Нет. Чуть-чуть.— А ты? — Не слишком.
Пятнадцать лет я жил к тебе вниз головой...
Чиновный Вашингтон с приглаженным умишком
Сухим, припав к окну, в нем видит нас с тобой.

Не сон ли? Ущипни. Какая-то церквуха,
Под готику, в окне, как рыцарь на часах.
При чем тут Вашингтон? В глазах светло и сухо.
Но лучший разговор не здесь, а в небесах.

Поэт поэту — столп лучей невыносимый,
В безжизненных песках синеющий мираж.
Как жажду утолить? Живой, невозмутимой
Дай мне воды со дна. Где ручка, карандаш?

Сверкай, сверкай, денек,— зимы американской,
Бесснежной, ноша мне все кажется легка.
Я кротостью смущен, ее бесстрастной лаской.
Что ж взгляд печален твой, улыбочка горька?

Твой жест, твой детский,— так царапается кошка,
Как будто коготки точа о мой рукав.
Жизнь-жмотина, смотри, расщедрилась немножко.
Ты к ней несправедлив. А я, прильнув, не прав.

* * *

С опозданьем, во всем своем грозном
И сверкающем виде, как бог,
Ты являешься в гости, нервозным
Кашлем сдавлен хозяйский смешок,
Изреченья твои и обмолвки
По уходе твоем в дневнике
Заиграют узором на шелке,
Расшалившейся рыбкой в реке.

Так и надо. Для нищего духом
Расстоянье меж ним и тобой
Не должно быть устелено пухом:
Пусть потрудится... Или любой
Слышит то, что волшебному слуху
Внятно в пенье отзывчивых муз?
Не обидеть и думать за муху?
Гнев мешает, препятствует вкус.

Но милей, чем пылание это,
Мне, признаюсь, неловкий рассказ,
Как неузнанный жил у Адмета
Олимпиец, стада его пас;
Знаешь, быть заодно с пастухами,
Утомленными грубым трудом,
Притушив — да не носятся с нами —
Свет таинственный свой за столом...

* * *

Здравствуй, здравствуй, арабский Версаль, Альгамбра,
Ты восьмое и лучшее чудо света,
Мусульманский рай на земле, так храбро
Разместившийся здесь, под Гранадой, мета
Золотая, волшебный рубец,— отныне
Буду знать, например, что такое мирты,—
Вспомню кустики с мелкой листвою: мы не
Скифы, видишь — пострижены и побриты.

Здравствуй, здравствуй, дворец: колоннады, рыбки
Золотые, арабская вязь резная,
Также львы, их каменные улыбки;
Женам не разрешалось на миг из рая
Отлучиться, всю жизнь проводили вместе,
Как сказала жена моя,— сбившись в кучу
На одном, разрыхленном и жирном месте,
Как герань,— изумленьем, боюсь, наскучу.

Здравствуй, здравствуй, прохлада и странный купол,
Сталактитами словно заросший, вера —
Дело трудное, помнишь: питался скупо
Магомет, укрывала его пещера
От нескромного взора, спасибо пчелам,
Диким медом кормившим его, заботы
Он не знал,— и не кажется нам тяжелым
Свод, и должен, в ячейках, напомнить соты.

Плохо только, что здесь же казнили, в этих
Стенах, то есть любовь к красоте и розам
Не мешала жестокости; о поэте
Я подумал, сказавшем, как под наркозом,
В обольщении лауреатской речи,
Будто чтенье способно смягчить халифа.
Нет, ничуть! Кипарисы стоят, как свечи,
Лавр, как водится, блещет, и плачет ива.

* * *

В тот год, когда моей ровесницей
Пленился мистер Гумберт Гумберт
И, крадучись скрипучей лестницей,
Боялся, бедный, что загубит
Мечту, любовь свою преступную
Неверным словом или шагом,—
Я барабанную и трубную
Вел жизнь под пионерским флагом.

Недоедание, равнение
Направо, окрики, подсказки...
Учителя́ постановление
О двух журналах ленинградских,
Но в сжатом виде, приспособленном
Для классов третьих и четвертых,
Читали в детстве нам нетопленом,
Зажатом в рамки мнений твердых.

Итак, не знаю, кто счастливее
Был, где найдет, где потеряет
Душа, с какими лучше фильмами
Ей, что сильнее унижает:
Маньяк ли, власть ли? Невезение
Чье больше? Девочка, ухватки,
Словечки... Странно тем не менее,
Что с ней бы мог играть я в прятки.

* * *

А. Пурину

Казалось, попугай стихи читает мне.
Пронзительный акцент пугал какой-то птичий,
Записанный бог весть в какой чужой стране
На пленку, вне людских условий и приличий,

Казалось, что бамбук, что лотос, что тростник
Обрамить эту речь — не гарвардские стены —
Должны бы: слишком тон решителен и дик,
Так сирины поют, так тешатся сирены.

Казалось, завели и бросили, обман,
Насмешка, разыграть студенты захотели.
Был в Гарварде я: нет там джунглей и лиан,
В библиотечном там и я читал отделе
Стихи свои за тем же столиком, клянусь;
Железный микрофон подвешен был, как груша...
По-русски так нельзя грассировать, боюсь
Я мягких «ш» и «щ», их бархата и плюша.

Показывали мне и корпус, где читал
Он лекции, кирпич запомнил нежно-красный
И реку, на гребной похожую канал,
Как в прозе у него,— по ней крестообразный,
Двухвесельный скользил двухместный паучок —
Под общей скорлупой каленых два орешка,
Попасть бы смуглым им к нему на язычок...
Казалось, что обман, казалось, что насмешка.

Казалось, что «Анчар», им выбранный, увы,
Со школьных лет ему запомнившийся рыком
Тигриным, все свои потертости и швы
Являет, норовя еще к каким-то лыкам
Склонить нас в шалаше,— не дамся, не хочу!
Не в Тенишевском нас училище учили.
«Ненастный день потух...» — люблю я и шепчу.
А так кричит павлин в Панаме или в Чили.

* * *

Да, накупили мы тряпок, прямо скажу, чемодан.
Нам «мерседес» подавали, а может быть, и «роллс-ройс».
Синие рододендроны, крупные, как обман.
Жаль, не сказал никто нам, что в Цюрихе умер Джойс.

Я бы совсем иначе на город тогда смотрел.
Ах, все равно живые изгороди хороши!
Денежных, знать, швейцарцам мало прилежных дел,
Русская литература им нужна для души.

Красным квадратным флагом с белым крестом большим,
Кажется, при желанье можно накрыть страну.
Русская литература и модернизм... бог с ним,
Что-нибудь вставлю к месту, присочиню, вверну.

Что до любовниц, с диким можно сравнить цветком
Каждую, выбрав синий или лиловый цвет,—
Так он писал, живя здесь особняком, тайком.
Мистеру Блуму — самый нежный от нас привет.

Здравствуй, поток сознанья,— вброд перешел тебя
Яснополянский, в блузе, не замочив штанин,
Первопроходец, время комкая, теребя...
Что это, помнишь, было: чертополох, люпин?

Вспомнится эта поза, через мгновенье — та,
Господи, так и этак нежничал с дамой, льнул,
В самые раскаленные руку тянул места,
Через страницу — падал лифчик на венский стул.

Где-то году в тридцатом был подведен итог
Новому направленью, подведена черта,
Вышел на сцену ужас, маску отбросил рок,
Только не здесь... Цветочки тянутся к нам с куста.

* * *

Е. Рейну

Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне.
Я присматривался к желтой, синей, розовой стене.
Ах, за что такой подарок драгоценный сделан мне?

Как ценил шероховатость мой любимый романист!
Он герою смерть, как радость, преподнес, как чистый лист.
Влажность эта, сыроватость, глянец лилий и батист.

На тарелочках зеленых мелко плавают они.
Им в каналах полусонных хорошо цвести в тени.
Об утратах и уронах думать — боже сохрани!

Вспоминать их неуместно и преступно, как в раю.
От себя я здесь чудесно отодвинул жизнь свою,
Власть Советов, бурю съезда, жаркий спор в родном краю.

Ездить на велосипеде, да посиживать в кафе,
Да просматривать в газете, что там пишут о Москве?
Почему одна на свете жизнь дается, а не две?

Водяною паутиной город маленький накрыт.
Умереть перед картиной — слишком легкий, что ли, вид
Смерти быстрой, воробьиной,— гордость наша не велит.

Я скажу сейчас, что понял наконец, к чему пришел:
Смысл лежит, как на ладони, откровенен и тяжел:
Бог задумал — я исполнил, в мире горя, в море зол.

Бродит маленькая птичка под ногами у меня.
С романистом перекличка, и художник мне родня.
Жизнь — горячая привычка, золотая западня.

* * *

Венгерские лавочки пухнут от разноголосых вещей.
Такого количества тряпок я в жизни не видел своей,
Кричат они, реют, как флаги, зазывно висят над дверьми.
Глаза твои блеска и влаги полны,— все потрогай, возьми!

Ты, кофточек девять примерив, восьмую велишь завернуть
И, выйдя, помедлишь у двери, седьмую жалея чуть-чуть;
Страна потакает не злости, не комплексу зла и вины,
А слабости женской: да бросьте, да что вы, да все мы смешны.

И ум отступает, и всякий пытливый другой интерес
Пред скопищем этим бессчетным развешанных тесно чудес —
Бесчисленных блузочек самых безумных расцветок, друг мой,
Как луч в католических храмах, куда нас водили с тобой.

Болтливые, легкие вещи, хлопчатобумажный галдеж —
Вот все честолюбие женщин и все их тщеславие,— что ж,
При всей чепухе быстротечной: подумаешь, ворс и покрой! —
Насколько оно человечней бесцветной заботы мужской...

* * *

В будапештском музее на рембрандтовском полотне
Блещет туша мясная, как жаркое знамя в огне,
Как алтарь, излучающий сумрачный жар золотой,
И всей Венгрии стоит,— не всей, так пусть пятой, шестой
Ее части, хоть тысячной,— дай досказать, не перечь,
Пышет туша кровавая, как раскаленная печь,
Словно книга распахнута Мудрости и Бытия
И над смертною пахотой высший стоит Судия.

Знаю, больше не свидеться с ней никогда на земле.
Но врата были райские мне приоткрыты во мгле

С полминуты,— достаточно, чтобы запомнить навек:
В каждой вещи есть святочный блеск, в каждом мраке — ковчег
Проступает и прячется... Жизнь моя, жар и зола!
В Будапеште раздатчица смуглого счастья и зла,
Если так мне позволено будет судьбу окрестить,
Подвела меня к пламени,— и не забыть, не остыть...

* * *

Что-то вроде музея при храме... тленье
И сиянье: тиары и ризы, туфли
Златотканые; видишь, и здесь движенье
Было, в этом застое: костры потухли,
Мук Христовых предметность на тканом платье
Замещает орнамент — цветы и стебли,
Их сплетенье, похожее на распятье...
Так ли все еще груб этот мир, свиреп ли?

И свиреп и груб, но, свою свирепость
Осознав, он становится мягче, что ли...
И в поэзии тоже сюжет — нелепость,
Ах, не то чтобы меньше любви и боли,
Но прямому рассказу о них стыдливость
Предпочла чуть заметных два-три намека,
Да прерывистость речи, да прихотливость
Ивы в сумерках, плачущей одиноко.

* * *

В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся
Прошлогодние листья, трещат и шуршат под ногой,
И рогатые корни южанина и иностранца
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,

Как домашний порог, так же буднично стоптанный нами,
Вообще он не думал, что могут быть так хороши
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.

Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по глянцу
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:
Да, еловая тень... Мы южанину и иностранцу
Незабудочек нежных покажем в лесу бахрому,
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.
Никогда! ни за что! голубые такие... их нет
Там, где жизнь он проводит так грустно... Увидим: не шутит.
И вздохнем, и простимся... помашем рукою вослед.

* * *

Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах
Ты легла на скамью, от траяновых стен — в двух шагах,
В трикотажном костюмчике,— там, где кипела вражда,
Где Катулл проходил, бормоча: — Что за дрянь, сволота!

Как усталостью был огорчен я твоей, уязвлен
Тем, что не до камней тебе этих, побитых колонн,
Как стремился я к ним, как я рвался, не чаял узреть...
Ты мне можешь испортить все, все, даже Рим, даже смерть!

Где мы? В Риме! Мы в Риме. Мы в нем. Как он желт,
кареглаз!
Мы в пылающем Риме вдвоем. Повтори еще раз.
Как слова о любви, повтори, чтоб поверить я мог
В это солнце, в крови растворенное, в ласковый рок.

Ты лежала ничком в двух шагах от теней дорогих.
Эта пыль, этот прах мне дороже всех близких, родных.

Как усталость умеет любовь с раздраженьем связать
В чудный узел один: вот я счастлив, несчастен опять!

Вот я должен сидеть, ждать, пока ты вздохнешь, оживешь.
Я хотел бы один любоваться руинами... Ложь.
Я не мог бы по прихоти долго скитаться своей
Без тебя, без любви, без родимых лесов и полей.

* * *

«Виноград созревал. Изваянья в аллеях синели.
Небеса опирались на снежные плечи отчизны».
Не мои это строки. И думаю я: неужели
Заслужил что-то вроде его ледяной укоризны?

Да и он приписал их другому поэту в романе,
И поэт этот вымышлен... Странные, так и повисли.
Вижу, вижу те горы на дальнем, изнеженном плане
И прочесть их берусь угловатые, снежные мысли.

Созревай, виноград, дорисую тебя: синеватый.
Протерев, как стекло, убеждаешься: иссиня-черный,
На решетчатых, сетчатых, зыбких подпорках распятый,
Дионисовых игр самый первый участник бесспорный.

Что до хвойных аллей с изваяньями в них, то не знаю,
Не тумана ли клочья им приняты за изваянья?
Вообще они жмутся к другому, полночному краю,
Где в аллеях и мы столько раз назначали свиданья.

В самом деле страна как во сне разметалась, похожа
На таинственный вымысел, пеной подбитая с края.
Ничего у нас нет ни любимей ее, ни дороже,—
Сознаем, с ней в разладе живя, без нее — погибая.

ОБОРВАННЫЕ СТРОКИ

Американец, чем жил ты последние лет пятьдесят,
Что тебя мяло и гнуло?
Твой Эйзенхауэр, Картер твой в чем виноват?
Стал староват,
Дремлешь, на спинку откинувшись гнутого стула.

Делал, что думал, и все, что хотел, говорил.
Сладкая жизнь и права человека
С детства даны тебе, Джон, вручены тебе, Билл.
Спал ты, любил?
Как Авраам, мог бы жить ты, Уильям, два века.

Три, Сэмюэл! Триста сорок безоблачных лет!
Видел я дуб суковатый,
Штат Массачусетс, Нью-Бедфорд, в помятый одет
Рваный жакет:
Старость стесняется праздничной быть и богатой.

Автомобиль в гараже и порядок в душе.
Воспоминанья... о чем? Непонятно.
Сильвию, может быть, видишь в ночном неглиже
На рубеже
Лет двадцати, да на совести — темные пятна.

Пса усыпил, потерявшего зренье? Доход
Скрыл от инспектора, благо что левый и мелкий?
Наших забот
Грозных не знал ты, мичуринских стойких пород,
Яблони той, скороспелки.

Краткого курса истории ВКП(б),
Чада семи керосинок в квартире,
Гнева в борьбе
С космополитами, лозунгов в майской толпе,
Ирода в маршальском, зóлотом шитом мундире.

Джек, пристыди;
Том, оборви; отвлеки от тоски меня, Стивен!
Девушек я имена позабыл, но вожди
Строго по списку идти
Склонны: наш опыт бессмертен и вздох коллективен.

Сам Дон Гуан,
Перечень этот подробный достав из кармана,
Так зачитался бы, что позабыл про роман
Очередной: что за скука — гитара, туман,
Запах лимона и чахлая струйка фонтана!

Аллен, два слова... Уолтер, не более трех
Связных подряд... Под гитару застольное пенье...
Питер де Хоох
Наш эрмитажный... и лондонский тоже неплох:
Выставки и послабленья.

Гайки... закручивать... Нет за стихами вины:
Переводимы
Только верлибры... Крушение пражской весны.
Грохот волны
Самой короткой... Все заперлись, все нелюдимы.

Раб, я свободен последней свободой ночной,
Письменный стол — мой товарищ.
Понял я то, что иной
И за сто лет не поймет, стороной
Смысл от него прошумит, неподъемен и старящ.

Если позволено будет причастие мне
Краткое это, злоупотреблять я не стану,
Джо, добротой твоей, Пол, при луне
В мирной стране
Мерно спускающийся по тропе к океану!

Тую твою,
Мирты да лавр не дано потрепать мимоходом
Мне, прерываю бессвязный рассказ на краю
Молодости, переломным помеченной годом.
Прочую жизнь утаю.

Только вдогон
Синему облачку — вскользь, как в театре, замечу:
Кто не уехал, тот дожил до новых времен,
Шли под уклон
С Клавдием, кажется, Гамлету вышли навстречу.

Стоп, я запутался. Может быть, наоборот.
Кажется, все перепробует роли
Тот, кто с мое в этой снежной стране проживет,
Крепче, чем йод
Твой океанский, не снилось тебе столько соли...

Счастлив я. Загнан я. Славен. Унижен. Забыт.
Ранен. Замучен.
Год засчитайте мне за три, вину мою, стыд,
Зимние тучи
К сумме прибавьте, трясет меня к ночи, знобит.

Машешь рукой
Мне издалека,— увы, твоих бед я не знаю.
Выпал мне век, не скажу: непосильный,— другой!
Мрачной строкой
Больше печалить тебя не хочу, умолкаю.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТИ, ДУША!

«Я, как помытчик при тишайшем...» 4
«Это шведы, наверное, шведы, французы в двадцатом...» 4
«Наши дела то прекрасны, то плохи...» 5
«„Любите книгу — источник знаний"...» 6
«Угомонись. Кому сказали? Ну!..» 7
Посещение 8
«Ну кто еще так груб, как музыка дурная...» 12
«Кобыла сивая с ее тяжелым бредом...» 13
«Иван Александрович, что ж вы, куда вы, зачем?..» 13
Под дождем 15
«Антона Павловича — вот кого представить...» 16
«Мне и Римской империи жаль...» 17
«— Все империи разваливаются, друг мой...» 18
«Молчи. Пусть сволочь густопсовая...» 19
«Мы жили в решающий год, завершающий год...» 19
«Мне скучен был бы в эти дни и Лондон, и Париж...» 20
«Я думал вот о чем, я думал, что везенье...» 21
«„Слава — это солнце мертвых"...» 22
«Лети, душа...» 23
«Счастливые стихи писали мы...» 26
«Независимость — вот что с годами ценить...» 26
«Музыковед Собакевич и пишущий прозу Ноздрев...» 27
«О да, она могла б внушить Орфею...» 28
«Когда бы Тютчев мог прочесть, что он...» 29
«От жизни той, ах, и от этой тоже...» 29
«Не так ли мы стихов не чувствуем порой...» 30

ДРУГ ЛЮБИМЫЙ, ПОЛУНОЧНЫЙ...

«Я поверил бы вам, что во зле...» 32
«Расходились поздней ночью...» 33
«Как ночью берегом крутым...» 34
«„Как будто я и впрямь жила уже когда-то..."» 35
«Знаю, знаю тебя, изучил, в твоем сердце живу...» 35
«Пой, пой, но только тихо, тихо...» 36
«Как хорошо жить...» 37
Ночная музыка 38
«Облаков на небе маленьких так много!..» 39
«Льется свет. Вода бредет во мраке...» 40

«Я за столом, под лампой, ты — на диване...» 41
Перекличка 42
«Мы-то знаем с тобою, какие цветы...» 45
«Помнишь, в любимом романе смущенный герой...» 46
«Есть где-то церковка, увитая плющом...» 46
«Христианская, может быть, вера...» 47
«Мне весело: ты платье примеряешь...» 48
«Остынь, возьми слова назад...» 49
«Сторожить молоко я поставлен тобой...» 49
«А что до теории нашего происхожденья...» 50
«Как женственно-нежна черта береговая!..» 51
«Кавказский зной — и бабочка на клумбе...» 51
«Кто мне ссудил и знойный этот день...» 52
«Сегодня — мглистое, сегодня — никакое...» 52
«Дикий берег пологий и два корабля...» 53
«На корабле не знают, сколько глаз...» 54
«Спиною к морю страшно мне стоять...» 55

АРМЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ·1987

Водопад 58
«Легко ль реке самой себя глотать?..» 58
«Тех бревен не найти, ушли под вечный снег...» 59
«Когда б я знал названье тех цветов...» 60
«Сбились в кучу овцы, словно осы...» 60
«Да, да, заботиться о маленькой стране...» 61
«Видел мельницу я водяную...» 61
«„Ваза откуда такая большая?" — „Из Бжни"...» 62
«Как я соскучился по чистой русской речи...» 63
«Неужто отчество от имени Тигран...» 64
«Лишь когда провожал нас у стойки в аэропорту...» 64

ПРЕКРАСНЫЙ СОР

«В реальности нельзя — в романе можно...» 66
«Проживи Катулл еще лет десять...» 67
«Кто сказал, что нужны поэту темы...» 68
«А ты, стремление к свободе...» 69
«Какое равенство? Смугла и пышнокрыла...» 70
«Я представить себе не могу, не могу...» 70
«Жизнь загадочней любого сна: любимый романист...» 71
«Говорю тебе: этот пиджак...» 71
«Летом в городе солнце с утра...» 72
«Положиться на Господа Бога...» 73
«Красные, красные, красные кресла, красные...» 73

«Что такое музыка — не знаю...» 74
«Как же, как же, с другим говорила...» 75
«Весны прекрасный сор: все эти молоточки...» 76
«Черемуховые холода...» 76
«Как раскапризничавшийся ребенок...» 77
«Перед отъездом, перед разлукой...» 78
«Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки...» 78
«Тень чинары на белой земле...» 79
«Ушел от нас... Ушел? Скажите: убежал...» 79
«Замерзли яблони и голые стоят...» 80
«Не может быть дурной молитвы...» 81
Бой быков 82
«Потому что жизни нет без фальши...» 82
«Пол не безлик, хотя и наг...» 83
Аполлон в траве 83
«Две маленьких толпы, две свиты можно встретить...» 84
«Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет...» 85
«Он пишет стихи — триолеты, сонеты...» 87
Бег с барьерами 88
«Снежок, снежок...» 89
«Церковная мне мышь приятна потому...» 89
«Если правда, что Чехов с Толстым говорили впервые в пруду...» 90

НОВЫЙ ОРФЕЙ

«Я убедился в том, что есть и впрямь на свете...» 92
«Ничто так к смерти нас не приближает...» 93
«Париж двусмысленный в двухбашенной красс...» 94
Новый Орфей 94
«Мы свиделись. И мы, смутясь, поговорили...» 96
«С опозданьем, во всем своем грозном...» 97
«Здравствуй, здравствуй, арабский Версаль, Альгамбра...» 98
«В тот год, когда моей ровесницей...» 99
«Казалось, попугай стихи читает мне...» 99
«Да, накупили мы тряпок, прямо скажу, чемодан...» 101
«Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне...» 102
«Венгерские лавочки пухнут от разноголосых вещей...» 103
«В будапештском музее на рембрандтовском полотне...» 103
«Что-то вроде музея при храме... тленье...» 104
«В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся...» 104
«Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах...» 105
«„Виноград созревал. Изваянья в аллеях синели...”» 106
Оборванные строки 107

1 руб.